

# Владимир Александрович Шаров Репетиции

## Неисторический роман –

предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=43779992&lfrom=1021453250](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43779992&lfrom=1021453250)

«Владимир Шаров Репетиции»:  
ISBN 978-5-17-116946-6

### Аннотация

*Владимир Шаров (1952–2018) – писатель и историк, автор культовых романов «До и во время», «Воскрешение Лазаря», «Будьте как дети», «Старая девочка», «Возвращение в Египет», «Царство Агамемнона». Лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга».*

*В «Репетициях» – как и всегда под пером Шарова – русская история, сплавляясь с библейскими сюжетами, приобретает совершенно фантастические черты: Москва XVII века становится Землей обетованной, в Новом Иерусалиме патриарх Никон и взятый в плен режиссер-француз проводят репетиции Второго Пришествия, и распределенные по ролям люди вновь и вновь отыгрывают события из Евангелия в ожидании Христа, вплоть до середины XX века передавая роли из поколения в поколение...*

**Книга содержит нецензурную брань**

## Владимир Шаров Репетиции

Серия «Неисторический роман»

Художник Андрей Бондаренко

© Владимир Шаров, наследники  
© Андрей Бондаренко, художественное оформление  
© ООО «Издательство АСТ»

\* \* \*

Апостол Петр говорил евреям: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века». Церковь трактует сказанное однозначно: обращение всех иудеев ко Христу должно предварить второе пришествие Спасителя и торжество праведных.

В 1939 году Исай Трифионович Кобылин перестал быть евреем, и еврейский народ, в котором он был последним, на нем пресекался. Две тысячи лет жестоковейные, как называл их Господь, соплеменники Кобылина не желали покаяться и обратиться в истинную веру, две тысячи лет, потакая нечестивым, они мешали второму пришествию Спасителя, которого молили и ждали все верующие, и теперь, когда земная жизнь евреев окончена, уже скоро. Скоро явится Он во славе Своей.

Историю гибели евреев я узнал от самого Кобылина в Томске в 1965 году, но начну я семью годами ранее и с другого. В 1958 году я поступил на первый курс историко-филологического факультета Куйбышевского (теперь город опять называется Самара) университета. Той же осенью я познакомился с человеком, который пытался понять Бога. Звали его Сергей Николаевич Ильин. Всю зиму и весну мы встречались каждый вечер и вместе гуляли в маленьком парке около улицы Свободы. Он проповедовал мне свое учение и, когда увидел, что я понял его, ушел из моей жизни. Ильин был старше меня на семь лет и ко времени нашего знакомства работал экскурсоводом в доме-музее Радищева.

Сам я крещеный. В трехмесячном возрасте я с молчаливого согласия родителей, однако по внешности втайне от них, был крещен нянькой в церкви ее родного села Троицкое, стоящего прямо на берегу Волги в десяти километрах южнее Куйбышева. Скоро няньку рассчитали: она оказалась больна какой-то неприятной кожной болезнью, кажется, псориазом, и мое религиозное воспитание на этом прервалось.

Ильин был полурусский-полуеврей. Крещеной еврейкой была его мать, происходившая из старого раввинского рода; среди своих не менее известны были и предки отца Ильина – купцы-старообрядцы, одни из основателей знаменитых поселений на Иргизе. В Ильине соединился народ, которому некогда было дано обетование и был послан Сын Человеческий, но который не принял Его, не пошел за Ним, и народ, которому ничего не было даровано и обещано, но который уверовал в Христа и будет спасен. Две крови соединились в нем плохо, и лицо Ильина было асимметрично. О себе он говорил, что в Средние века такая внешность неминуемо привела бы его на костер как явного, отмеченного печатью дьявола суккуба или инкуба. Сейчас, вспоминая Ильина, я с удивлением понимаю, что во время наших прогулок всегда шел слева от него, и хорошо помню только его левую, еврейскую сторону – черную и печальную.

Речь и самый ход мысли Ильина был странным образом ритмизован. Как в музее, ведя экскурсию, он вычленил из жизни Радищева ключевые, ударные слова, дела, вещи, а пространство между ними почти бежал, лишь шагами обозначая общую канву событий, так и с Христом; пытаюсь уяснить, что́ пришло с Ним в мир, что́ было Им возведено и евреям и другим народам, он, закладывая свой храм понимания Бога, сознательно не дробил его на приделы, а только положил в основание и под углы начальные камни веры, возвел каркас, но ни стен, ни кровли ставить не стал, сохранив всё, как в пустыне, – сквозным и открытым.

Ноябрьская аллея с голыми и оттого тяжелыми столпообразными деревьями, наше с Ильиным движение по ней всегда больше напоминало мне прохождение маршрута, а не прогулку: у нас была и тема, и цель, и смысл, и другой, куда более быстрый темп. Подбирая нужный камень, находя ему место, ставя его, Ильин ступал совсем медленно, почти нарочито затягивая шаг, но потом, закончив эту часть работы, он легко, словно рисуя линию, наверстывал время – равномерно посаженные деревья хорошо подчеркивали, как неровно он шел. Но сам он не замечал этого и никак не принимал во внимание, для него деревья были лишь масштабом, позволяющим представить и общий объем, и соразмерность постройки.

Он говорил мне: «Сережа, надейтесь на Бога, любите Его, помните о Нем, не таитесь, рассказывайте Ему обо всем, не стыдитесь ни радости, ни горя, верьте, просите, молитесь. Он доступен, Он обращен к вам. Он поймет и поможет». Молитвы доходят до Бога, говорил Ильин, они действенны, они важны, и для Него тоже, это связь между Ним и нами, связь, которая соединяет нас в одно, то, что делает нас Его, Божьими, созданиями, без чего и мы были бы для Него никто и Он для нас никем, и не знали бы мы о Нем ничего, и не верили бы в Него.

В Библии, говорил Ильин, Бог творит и поживает от всех дел, сострадает и скорбит, печалится и раскаивается, Он ходит, видит, говорит, смотрит, слушает, запоминает, обоняет, Он любит и ревнует, радуется и гневается, казнит и прощает, у Него есть глаза и уши, есть крепкие руки, в которых Он держит скипетр и разящий врагов меч. Все эти человеческие вещи сказаны в Торе о Боге не потому, что в языке не было других слов, а сами люди тогда были в младенчестве и иначе бы ничего не поняли, – нет, Бог действительно такой, и Он

действительно чувствует всё это: и наши гнев и радость, сожаление и печаль; то, как мы относимся к правде и лжи, тоже созданы по образу и подобию Его гнева и радости, скорби и любви.

Ильин говорил: никто не знает и не может знать всего Господа, но часть Его, которая обращена к нам, – человеческая, мы можем и должны понимать ее. Господь хочет, чтобы мы понимали Его, Он хочет от нас не только веры, добрых дел, покаяния, исполнения закона. Ему нужно, чтобы мы, люди, Его понимали, были хоть и детьми, но разумными. Если бы это было не так, Он бы не смог ничему нас научить, ничего нам объяснить, и мы друг для друга были бы совсем чужие.

Христос, говорил Ильин, не только истинный Бог и Сын Божий, Он Богочеловек, и в Нем, в Христе, две Его природы – Божественная и человеческая – нераздельны и неслиянны, они, эти две природы, потому и смогли соединиться, что свои, родные, созданы по образу и подобию и подходят друг другу так, что в Христе неотделимы. Христос-Богочеловек – еще и метафора отношений между Богом и людьми, то, какими эти отношения будут, когда люди раскаются и станут на праведный путь; тогда нам будет даровано не только Таинство Евхаристии, не только несколько раз в год мы будем приобщаться святых Тайн, крови и плоти Христа, но навсегда и все соединимся во Христе, и в Нем и с Ним соединимся с Господом.

Ильин говорил: Господь не мог творить зло, и до человека в мире зла вообще не было. Знание о зле было, а самого зла не было. Мир был как буквы, которые обретенны во благо, но которыми можно написать и злое. Господь создал человека, и ему первому была дана возможность и свобода творить и добро и зло. Господь верил, что человек, зная, что такое зло, и зная, что он может творить его, сам свободно выберет добро, будет творить добро и, значит, рожденный Господом мир – добр.

Рай – это время детства человека. Играя, он дает имена зверям и рыбам, птицам и деревьям – всему, чем Господь населил Свой мир и что будет жить с человеком в этом мире. В раю человек познает добро и зло, познает слишком рано, еще ребенком, познает тогда, когда душа его еще не была воспитана. Первое зло, которое сделает человек, – нарушит запрет Господа, потом бежит и скрывается от Него, – это зло несмышленного ребенка, но дальше, появившись в мире, зло начинает порождать зло, оно множится и растет, и человек, душа которого была плохо научена отличать добро от зла, в неведение только помогает ему. Мы боремся со злом и думаем, что, если оно против нас и мы с ним боремся, мы – добро, но это не так. Тот, другой, тоже считает, что он добро и, борясь с нами, он борется со злом; в этой борьбе сходятся два зла и рождается новое зло. Мы не понимаем или забываем, что добро – это нечто совсем другое, что добро – тогда, когда кто и откуда на него ни смотрит, всегда видит добро.

Зло, говорил Ильин, есть удаление от Господа, зло есть стена между Им и нами: ни поверх, ни сквозь нее мы не видим Господа и остаемся одни в мире, где Бога нет, где есть только мы, и тогда, замороженные тем, что одни, впервые одни, что над нами никого нет, замороженные правом творить, мы творим и творим зло. Стена между нами и Господом всё выше и выше, вера слабеет, вокруг нас только зло, мы тонем и захлебываемся в нем, но и тогда Он услышит и спасет, если среди нас найдется хоть один, кто раскается и обратится к Нему.

Ильин говорил: многие утверждают, что евреи в Ветхом Завете не такие, каким должен быть народ Божий. Они убивают невинных, отрекаются и изменяют Господу, и не понятно, в чем их избранность; те же люди говорят, что Песнь Песней и Экклезиаст – не боговдохновенные книги, и вообще неясно, как и почему они попали в канон. Они не понимают, что книги Ветхого Завета – это книги диалога между Богом и людьми, самого главного диалога из всех, которые когда-либо вел или будет вести человек, то, что есть в них: и предательства, и измены, и отречения – всё это было. Это путь, пройденный человеком, это история его возвращения к Богу, и нет ничего важнее ее, ничего важнее любой ее части, которая есть часть пути познания Господа, и что бы ни было: плохое ли,

хорошее, каждый шаг этого пути должен быть сохранен до последней капли и передан точно и полно, невзирая на лица.

Ильин говорил: время жизни Христа, Сына Божьего, на земле и для Бога, и для человека, и для всего, что было и есть между Богом и человеком, – время беспрецедентное. Всё прежнее пребывание Бога на земле, известное нам, включая и семь дней творения, не составляет и тысячной доли тех тридцати трех лет, которые Христос прожил в миру. Чтобы быть ближе к человеку, Сын Божий принял даже и его течение времени. Опыт, который вынесли и Бог, и человек из тридцати трех лет ближайшего общения не только тех, кто за Ним пошел, но, главное, Бога и Человека внутри Самого Христа – с этого началось и, познав человека так, в едином теле, как бы внутри Самого Себя, когда и разделиться нельзя, нельзя отойти и посмотреть со стороны, что заняло почти тридцать лет, лишь затем Христос идет проповедовать избранному народу, – этот опыт – основание всей последующей двухтысячелетней истории. Без него мы ничего не поймем ни в событиях Нового Завета, ни в том, что было дальше.

Ильин говорил: во все времена с момента появления на земле евреев, основанием всего, что связывало их с Богом, была вера, ежедневные молитвы и жертвоприношения; было и другое: то, что Он избрал их, и то, что судьба и история их больше, чем других племен, оказалась близка Ему; в начале, у истоков народа, Господь Сам спускался на землю и говорил и наставлял первых из евреев, потом это было уже реже. Когда евреи умножились, с Богом их по-прежнему продолжали соединять молитвы и жертвы, но еще Он дал Моисею для народа Закон, и сами они построили как бы жилище Ему – Храм. Когда народ грешил и забывал о Боге, а это случалось часто, Господь посылал ему пророков, которые наставляли его в вере и праведности, и, как поводырь слепцов, выводили на истинный путь. Так продолжалось больше тысячи лет и казалось, что только недостаток веры – причина всех бед, но к рубежу эр, в то время, когда Рим уже овладел всем Средиземноморьем и Иудеей тоже, многое изменилось. Никогда еще в стране не было столь мало идолопоклонников, и никогда еще в храме не совершались так правильно богослужения, сотни и сотни образованнейших левитов продолжали разработку законов, данных Моисею, и единственное, что двигало ими, – боязнь совершить грех перед Господом. Они, эти толкователи и учителя Закона, были самыми уважаемыми среди народа, потому что главное, к чему стремились евреи, было – не согрешить. Большинство из живших тогда в Земле Обетованной готово было пойти на изгнание и смерть, но не дать осквернить Храма. И через считанные десятилетия, во время Иудейских войн, и сиккарии, и зилоты, и фарисеи, и многие из саддукеев пойдут и погибнут, и потеряют свою землю, верные Богу. И останутся верными Богу через две тысячи лет гонений и казней; и те, кто останутся верными, – те и евреи, а остальные – нет, остальные разойдутся, рассеются и растворятся среди других народов, и не останется от них ни в памяти, ни так ни следа.

Ильин говорил: и всё же евреи, хотя и преданы они были Богу, виновны перед Ним; и в Его, Бога, Земле, Земле Обетованной, с каждым годом множилось зло, она наполнялась им и наполнялась, и ни Он, Господь, ни вера не были злу пределом. Все это Господь видел и знал, видел Он, что народ Его Ему предан, и не мне, конечно, судить, насколько были преданы евреи Богу, но больше преданы, чем когда бы то ни было, – и преданы больше, и к тому, что ждало их, готовы. Господь и это знал. Но мир Его был больше Земли Обетованной, и не одни евреи в нем жили.

Тут снова о евреях. Народ этот тогда расселился, рассеялся и был рассеян по многим землям, сошелся и перемешался со многими другими народами, и от них, от евреев, остальные народы узнали о Всевышнем. Узнали о Том, Кому когда-то, во времена Ноя, поклонялись и сами, но Кого давно уже и сумели и успели забыть, и жили с тех пор несмышленными и не ведающими греха детьми. Благо и зло. Снова узнав о Боге, они узнали и то, что они Ему теперь как бы чужие, и еще – что они не дети и давным-давно не дети, и так сразу и много на них стало греха, и так они стали никому не нужны и одиноки, что уже и не спастись им никогда. Евреи не захотели и не помогли им, и в этом их вина. И получилось,

что как дошла до народов весть о Господе, оказались они от Него еще дальше и всё равно им уже было, сколько зла. Но и они тоже были дети Его, хоть и блудные, и грешные, но дети, только отошли они от Него, и обратно не сделали еще ни шага и не хотели сделать, потому что думали, что чужие Ему и не примет Он их. Да и путь к Нему так труден, что и начинать не стоит. И тогда Господь пошел к ним Сам, пошел, как и узнали они про Него, через Свой народ.

Ильин говорил: Господь решил прожить жизнь простого человека, прожить вдали от Храма, в Галилее, где язычников было больше всего и слабее вера, прожить полную жизнь с детством, молодостью и зрелостью, прожить праведно и честно, как должно исполняя Закон. И когда жизнь эта будет окончена, Он будет знать, что делать дальше. Тут, кстати, надо сказать, что Закон ни здесь, ни потом нигде и ни в какой своей части Сыном Божиим сомнению не подвергается. Он говорит: «Итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте» (Матф., 23). «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном...» (Матф., 5). И что, пожалуй, и для нас, и для понимания всей судьбы евреев главное: какова же была верность их Завету, если, несмотря на тысячи чудес, явленных Христом, – истинность Его как мессии они мерили лишь преданностью Христа Закону.

Ильин говорил: был ли Христос настоящим человеком? Думаю всё же, что нет, хоть и был Он зачат земной женщиной, выношен ею и рожден, но зачатие Его было непорочно, оно и не могло быть другим, и на Христе не было первородного греха, того груза, который несли, несем и будем нести все мы до скончания века. Все-таки Господь, приняв образ Христа, соединившись в Нем с человеческой природой, оказался настолько близко к человеку, как никогда не был, и опыт Его: опыт жизни на земле, в миру, и опыт сосуществования в одном теле с человеческой, смертной природой, для Него бесконечно ущербной, – всё это было важнейшим в человеческой истории после ухода Авраама из Ура Халдейского.

Ильин говорил: Христос отличен от человека. Он чист, безгрешен, и в Нем есть чувство правоты, знание, что Он вправе, знание, что и тот, и этот мир Его, что Он только сошел сюда, вниз, на землю, и может уйти, и уйдет, поднимется из него. И еще: мир создан Им и может быть изменен, перестроен, исправлен по Его воле, словом, Он, Христос, его хозяин, и как ни старается Господь отойти от своего всеведения и всевластия, привыкнуть и принять то, как смотрит на мир человек, Ему это удастся только в самые последние часы и минуты жизни, перед тем, как Его поведут на Голгофу, на крест, и на кресте.

Ильин говорил: соединясь с человеком во Христе, Господь хочет вспомнить и вновь возобновить в Себе знание, что Его соединение с человеческим родом возможно, что оно органично, необходимо и будет. Как я уже говорил, это прообраз того, что нас ждет. Ожидания Господа оправдываются: Сын Бога и девы Марии рожден на земле, но Его рождение еще раньше, чем Он, младенец, начнет ходить, странным образом перестает быть тайной и меняет мир. Меняется и становится другим всё: и устройство жизни, и соразмерность и отношения ее частей, и само здание, меняется даже то, что считалось в мире праведностью и грехом; да, праведность всегда праведность, а грех всегда грех, и все-таки в пространстве между ними нечто было нарушено, сдвинулось, исказилось. Многие сбились и заблудились тогда, их спутала путеводная звезда, которая вела волхвов к Христу, они потеряли дорогу, и то, к чему стремились эти люди, люди, знавшие испокон веку свой путь, знавшие, что силы их невелики, – всё это разом рухнуло и уже не могло быть правильным на земле, во всяком случае, пока на ней жил и по ней ходил Иисус Христос. Я не хочу так говорить, но получается, что, когда появился на земле Христос, там, где Он жил, в Израиле, остался как бы один – революционный и мгновенный по своей сути – путь праведности, тот путь, которым шли Сын Божий и Его ученики.

Ильин говорил: живущие под звездами волхвы и пастухи первыми заметили нарушение

естественного строя жизни, оно было сильным: Господь спустился в мир, данный человеку в опрочину, в мир, где человек должен был управляться сам, и его пространство оказалось тесным для Бога. Это нарушение естественного хода вещей, это столь массивное пришествие Бога на землю (напомним, что ни до, ни после ничего подобного не было) неизбежно меняет судьбу избранного Им народа – избивание Вифлеемских младенцев было началом ее.

На земле Сын Божий становится на дорогу, которой евреи шли две тысячи лет. Повторяя их бегство от голода, Он, спасаясь от гонений, бежит в Египет, скрывается там, потом в Палестине о Нем забывают, Христос возвращается обратно и почти три десятка лет живет в тишине и незаметности. Он ждет, когда придет Его время прокладывать и торить путь Своему народу, путь, которым народ должен будет идти, которым пойдет и который так же, как и Сам Христос, пройдет весь от Назарета до Голгофы. Итак, первая часть жизни Иисуса Христа – жизнь человека из Его народа, она оканчивается в Его тридцать лет и начинается вторая жизнь – пророка, мессии, провозвестника судьбы евреев. Начать ее Иисус решается не сразу.

Ильин говорил: Иоанн Креститель, как и волхвы, знал, кто такой Иисус, знал, что Он Сын Божий, не мог не обладать этим знанием, поэтому он и говорил Ему: «Мне надобно креститься у Тебя и Ты ли приходишь ко мне». Но тогда еще ничего не было решено и еще сорок дней разделяли житие Иисуса-человека и житие Иисуса-мессии: крещение от Иоанна, нисхождение Святого Духа, долгий пост в пустыне, во время которого трижды дьявол искушает Христа, искушает в Нем человека, и только когда человек устоял, выдержал, тогда и свершилось, и стал Христос помазанником Божиим. В диалоге между Христом и Иоанном Крестителем, который есть у Матфея, можно почувствовать некоторую неуверенность Христа. Связана ли она с тем, что срок Его миссии еще не пришел или не кончился искус, но, кажется, хотя об этом и ничего не сказано, изначально мыслилось лишь воплощение Сына Божьего в человека, потому что в том, что мир стал таким, каким он был, и вина была только человека.

Ильин говорил: то, что Господь во время, когда Иоанн Креститель еще был жив, посылает на землю другого пророка, большего, чем он, Своего Сына, не должно быть принято за свидетельство недостаточности Иоанна (что как раз подразумевалось в спорах между учениками его и Иисуса), нет, появление Иисуса Христа, Его проповедь означали иное, означали, что раньше Его, Сына Божьего и Спасителя, между Богом и людьми не было, и пока Его не было, человек не мог, не имел сил, чтобы одолеть грех. Это уже само по себе было как бы оправданием человека. Вещь необычайно важная и неожиданная для Бога, и Христос, избрав учениками людей, живших на земле той же простой жизнью, что и Он, тем самым утверждает этот оправдательный приговор.

Ильин говорил: три года ходил Иисус, проповедуя, по Израилю, и от них осталось не только то, что Он говорил своим ученикам и что через писание дошло и до нас, у этой части учения жизнь была наиболее прямая и естественная, но и сказанное Им тем евреям, которые за Ним не пошли, которые отвергли Его, и еще то, что понял за три года Он Сам. Споры Христа с фарисеями были необычайно важны и для народа, и для Христа, и для Бога. Вся последующая история не одних лишь евреев, но и христианского мира свернута в них.

Какие выводы можно сделать из этих споров? Первое: прямолинейное развитие, формальная логика, примат внешнего ведет веру к юридическому кодексу, к тупику, но ясно и другое: единственное, ради чего живы фарисеи – Бог, все их помыслы и устремления – Он, весь их ригоризм – от преданности вере отцов. Я уже говорил, что истинность и правильность Закона, данного Моисею, Иисусом Христом нигде сомнению не подвергается, на Законе не лежит никакой вины за непонимание между Богом и народом. Иисус даже усиливает звучание Закона, продолжает его, хотя и в иную, более человеческую, чем фарисеи, сторону. Но это как раз понятно: Он имеет право на толкование, Он Бог, они же имеют право только на строгое логическое выведение, простое продление. И всё же главное – не толкование Иисусом Закона и не судьба верных и праведных волнует Его в первую очередь. Он послан не к ним: «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Матф., 9). Куда

важнее другое знание, вынесенное Христом из земной жизни: единственное, что может помочь человеку, – чудо. Господь не утешает калек и больных, у Него для них нет слов. Он и не призывает их смириться. Он их лечит. Это суть: участь калек, увечных и бесноватых так ужасна, что без спасения слова – ничто. То, сколько чудес, самых разных, совершает Христос на земле, показывает, как необходимо чудо в мире, как целительно, и что без него нельзя. Творя чудеса, Господь исходит из убеждения, что мир страшен, и Он, Христос, послан спасти его.

Ильин говорил: все споры между Христом и фарисеями сведены в притче о работниках, в ней спорят два пути к Богу: хозяин за динарий (вечное спасение) нанимает работников на свой виноградник, когда полдень миновал, нанимает других, за час до окончания работ – третьих, и всем платит одну цену – динарий, и, когда работавшие с утра возмущаются, говорит одному из них: «Друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойдешь; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных» (Матф., 20) – (здесь видно, что чудо и добро больше справедливости, больше долгой, медленной и тяжелой работы, чудо больше всего).

Ильин говорил: в основании всего, что, исполнившись Святого Духа, Христос делает на земле, – добро; прожив столько лет в миру, видя так много зла, Он теперь, перестав быть человеком, став мессией, снова став Богом, не может не творить добро, как можно больше добра, добра самым последним и увечным, и самым грешным тоже. Он, в сущности, нарушает Им же установленный порядок вещей: не медленный путь исправления и раскаяния человека, не медленный путь спасения человека от греха, и как награда прошедшему этот путь – вечное блаженство, а просто горы и горы добра, мешки добра, и чем хуже тебе, чем более ты слаб и грешен, тем более достоин ты добра, достоин милости и снисхождения. Чтобы добра было больше, Он посылает своих учеников во все стороны, говоря им: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте», – и дальше: «Даром получили, даром давайте» (Матф., 10), – чтобы они не задумывались, творить добро или нет и достоин ли просящий милости.

Ильин говорил: в Христе есть много радости Бога, который может и наконец творит добро, который уже не должен ждать, когда созданный Им человек исправится, не должен смотреть на все бесконечные беды и горе человеческой жизни, который любит человека как Свое дитя, ведь человек и есть Его дитя, Его продолжение, и создан он по образу Его и подобию, и в страданиях тоже. Бог просто не в силах дальше смотреть на беды людей, видеть, что зло множится, что его каждый день всё больше, а так, конечно же, в Божьем мире быть не должно, и потом, разве Он не помнит, с чего и когда началось зло в мире: началось, когда человек был ребенком, и трудно даже сказать, отвечал ли он за свои дела, мог ли отвечать за них, да и зло, сделанное им, разве сравнимо с тем, что было потом? И вот Сын Божий, полный любви, полный желаний простить, желаний, чтобы зла больше не было, и еще равенством: почему у одних есть всё, и праведность тоже, а у других ничего – ведь они от одного корня, от Адама, Он тем, у кого ничего нет, у кого меньше всего, нищим, больным, увечным, мертвым, дает чудо прощения и избавления.

Но тогда то, говорил Ильин, для чего создан Богом человек, человек, которому дано творить добро и зло и который свободно выберет добро, будет творить добро и, значит, установит истинность, доброту Господня мира, окажется невыполненным, неудачей, и всё, что было после появления человека, всё зло – ненужным, простым порождением зла. И сделанное на земле праведниками – тоже ненужным, и нет у Бога никого, и, главное, добро не лучше зла, люди не выбрали его. Не захотели или не успели. И Христос останавливается.

Ильин говорил: чудеса творит Бог, и только в любви и жалости, равно свойственной Богу и человеку, мы можем угадать человека, но чем ближе к концу, чем ближе к Голгофе, к смерти, тем более виден человек. Голгофа и разделит их. Одному суждено – и Он знает это – умереть, Другой сподобится – и знает это – воскреснуть. Я не разделяю их, они одно, и всё

же Бог не может умереть, может страдать, но не умереть, мир без Бога немислим и мгновения этого для Него нет. Чем ближе к Голгофе, тем больше в Христе человеческого.

Ильин говорил: в Иерусалиме и на Голгофе Христос уже человек, но в Нем есть еще знание Бога. Он знает, что Его предаст Иуда, знает, что Петр трижды отречется от Него, знает, что будет распят, но всё идет по пути, давно начертанному, начертанному не Им, и Он не волен свернуть с этого пути. Он говорит Господу, молит Его: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты», – и дальше снова: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Матф., 26). Но чаша не минует Его. Он будет распят на кресте, и таково одиночество человека в этом мире, так забыт и брошен он Богом, что Христос, ближе которого к Господу никого не было и нет, который был соединен с Ним нераздельно и прожил так нераздельно всю жизнь от зачатия, и тот возопит: «Элои! Элои! ламма савахфани?», что значит: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Марк, 15).

Ильин говорил: главное, что разделило Христа и евреев – дело Вараввы. Иуда был Его учеником, пошел за Ним, прошел с ним весь путь, и, как другие Его ученики, должен был уйти из евреев. Иуда Его слушал, с Ним возлежал, Его властью творил добро, он во всем отказался от пути еврея и, когда он предал Христа, он на этот путь отнюдь не вернулся, ему заплатили – и всё. Он хотел вернуться, хотел отдать деньги на храм, но их не приняли и, значит, его тоже и определенно не приняли, и Иуда, оставшись совсем один, один, как это только возможно, повесился. Оппозиция Христу – Варавва, из-за него народ говорит: кровь Христа на нас и детях наших, его выбирает спасти, когда встает вопрос – кого?

Варавву Лука называет разбойником, который произвел возмущение в городе, но все четыре Евангелиста отличают его от злодеев, казненных вместе с Христом, впрочем, за них народ и не просит. Кажется, Варавва был из тех, кто пытался поднять восстание против Рима. Я здесь не говорю, кого в таких случаях выбирали другие народы, дело не в этом. Христа и евреев разделило дело милосердия – и это поразительно, забудем даже, что оппозиция Христос – Варавва облегченная: Варавва заявлен разбойником, убившим человека, и даже так зададим вопрос: кто должен быть спасен – Бог, который через три дня воскреснет, или человек? Здесь смерть одного значила спасение другого, спасти одного значило осудить другого, и в этой ситуации правы, я думаю, евреи. Спасен должен быть слабейший, тот, кто сам себя защитить не мог и у кого не было защитника – Бога-Отца. Вопрос, кому спасти жизнь, человеку или Богу, – всегда человеку. Встав на сторону Христа, евреи должны были погубить человека. Это их цена.

В Куйбышевском университете я проучился почти три года, и месяца за четыре до нашего переезда в Томск, где отцу предложили место главного рентгенолога области, когда мы уже, что называется, сидели на чемоданах, я был записан на спецкурс, который назывался «Гоголь и сравнительное литературоведение». Я был записан принудительно, как и другие пятеро, по распоряжению деканата, потому что добровольца, кажется, не нашлось ни одного, и успел прослушать ровно половину курса – пять лекций. Читал их совсем дряхлый 80-летний киевский профессор философии по фамилии Кучмий, известный всему университету под кличкой «идеалист». Он и действительно был идеалистом во всех отношениях.

Владимир Иванович Кучмий успел составить себе имя еще до революции, потом, когда на Украине окончательно утвердилась Советская власть, он честно пытался перестроиться и даже написал двухтомную работу, называвшуюся, кажется, «История философии в свете исторического материализма». Однако то ли он перестраивался медленно и недостаточно правильно (двухтомник его был почти издевательски обруган), то ли просто плохо вписывался в предвоенную Украину, но в 40-м году его посадили, обвинив одновременно в пропаганде всё той же идеалистической философии и в украинском национализме. Просидел Кучмий почти пятнадцать лет, а когда в 55-м освободился, Украина, памятуя о национализме, принять его наотрез отказалась, и Москва после коротких размышлений

предложила Кучмию полставки в Куйбышеве, но, естественно, не по кафедре философии, а на совсем тихой кафедре русской литературы. Мы были его последними слушателями – в том же году он ушел на пенсию.

Формально, повторяю, спецкурс, который он нам читал, был посвящен Гоголю, но до него Кучмий добрался только в конце третьей лекции. Интересовал его не Гоголь, а вычурная смесь литературоведения, социологии и бреда. Холодно и методично он объяснял нам, что люди, жившие на земле, целые племена и народы, в сущности, были никто или, во всяком случае, не более, чем фантомы и миражи, блуждающие по пустынным пространствам, – это его выражение. Отгалкиваясь от данного тезиса, он долго рассуждал о бессмысленности и бесцельности земного существования, о сходстве между человеком и растением: равенство жизни, равенство смерти, и от каждого остается лишь одно – семя. Он говорил, что жизнь тех, после кого ничего не осталось, – иллюзия. И в самом деле, где всё, что с ними было? Ведь мы думаем, что они страдали, только по аналогии, только потому, что страдаем сами. Те, кто приходил, – ушли, ушли давно, и сейчас даже невозможно сказать, – зачем? зачем они рождались и жили, да и были ли они вообще?

Задав этот вопрос, Кучмий надолго замолчал, а потом так же холодно и спокойно вдруг стал объяснять, что перегнул палку, что он вообще перегибщик и в былое время из-за этого пострадал, теперь его долг – отказаться от своих слов. Методический отдел не раз указывал ему, что, называя людей, пускай уже умерших, фантомами и миражами, он искажает истину и вообще он недооценивает опыта других наук, например, археологии, которая со всей определенностью установила, что от каждого человека хоть что-то да остается. Даже если это одни кости, он не прав и тогда, потому что ни миражи, ни фантомы костей не имеют. Он согласен с высказанной в его адрес критикой и заверяет нас, что больше подобное им допущено не будет, но в то же время он говорил методическому отделу, а сейчас говорит нам, что ему свойственно впадать в полемический раж, что он вообще человек увлекающийся и с этим его недостатком, к сожалению, приходится считаться. В споре между ним и археологией, безусловно, права археология, стоянки и погребения – дело рук людей, это доказано и не вызывает никаких сомнений. Археология и вправду наука наук, она буквально воскрешает древних, если так пойдет дальше, мы будем знать их как самих себя и даже лучше. Недавно, продолжал он, всего в пяти километрах от города археологи раскопали сразу две стоянки наших земляков, а может, и предков, и ныне мы знаем, что одна из стоянок принадлежит культуре ленточной, а другая – культуре елочной керамики, что, кстати, хорошо соотносится с известным высказыванием Ленина о наличии двух культур в рамках одной национальной культуры.

После этого странного пассажа, он, видимо, посчитал, что отдал кесарю кесарево, и заявил нам, что этих бывших на земле людей правильнее всего именовать заготовками, полуфабрикатами того, что может быть названо «людьми живыми» (*homo vitus*). По словам Кучмий, от прошлого – древнего и совсем недавнего – до нас дошли только спутанные и нерасчленимые массы людей-прообразов, и связано это с несовершенством как самой людской природы, так и способа размножения. Люди невыраженны, аморфны, пластичны, они похожи на воск, говорил он. От времени и собственной тяжести они быстро теряют форму, сваливаются, спекаются, превращаясь в однородную, хорошо перемешанную массу, которая у историков получила название народа. От прошлого до нас не дошло ни одной личности, ни одного человека, ни одной своей чертой не сохранились даже те, имена которых мы знаем по первым лапидарным надписям.

Применяемый ныне способ рождения детей является на земле самым старым и самым примитивным, говорил Кучмий, основан он, как известно, на совокуплении двух полов, возможность единичного, самостоятельного размножения практически исключена. Соответственно, ребенок в лучшем случае – результат компромисса, обычно же – грубого, механического смешения двух индивидуальностей. Ни о какой органичности и преемственности не может идти и речи. Любой ребенок – метис, полукровка, со всеми присущими этой части человеческого рода недостатками. Тысячекратное смешение всех и

вся со всеми, что, в сущности, является главным содержанием истории, – и есть виновник того, что человечество столь бессмысленно и бездарно...

«Но я надеюсь, – продолжал профессор, – что придет время, когда похоть, которая без остатка растворяет человека в себе подобном, растворяет то немногое, что может быть названо личностью человека, – восторг, испытываемый в эти минуты, лучше всего говорит, сколь ненавистна нам наша личность, наше отличие от других людей, – станет атавизмом и постепенно отомрет».

Тут к слову он вспомнил своего земляка Трофима Денисовича Лысенко и заявил нам, что многие недооценивают философского фундамента его взглядов на природу. Человек, как и всё живое, рожденный вульгарным смешением двух наследственностей, из которых каждая тоже была смешением, и так далее до начала жизни, может в редчайших случаях благодаря воспитанию и саморазвитию стать личностью, отсесть необязательное из своих генов и превратиться в сравнительно цельное существо. Каково, если кто-то пытается доказать, что его дети начнут с нуля, что он не способен биологически передать им ничего из накопленного?

«Проще говоря, – спросил Кучмий, – должны ли мы соглашаться с тем, что дети двух убежденных марксистов будут рождаться столь же аполитичными и безыдейными, как дети обычных людей? Можно ли тогда вообще утверждать, что сознание – высшая форма материи, если в этом главнейшем вопросе оно ежечасно пасует перед ней?»

Вторая лекция Кучмия была частью посвящена весьма странному литературоведению, частью – характеру и физиологическим особенностям писателей. Они, по мнению Кучмия, были тем отделенным и пока совсем малым отростком человеческого рода, который размножался высшим, возможно, совершенным способом. Если реальных людей Кучмий, как я уже говорил, считал заготовками, полуфабрикатами, простым набором свойств и признаков, то писатели производили на свет Божий истинных и правильных в своей законченности людей. Одни писатели размножались партеногенезом («Обратите внимание на сходство слов и сходство смысла, – сказал Кучмий, – как партия и партийные геноссе – товарищи – люди выверенные, проверенные, строго определенные и очерченные»), другие были двуполые, однако и первые и вторые равно рождали высших существ, чья жизнь длилась целые поколения, иногда даже тысячелетия, и никогда не прекращалась вовсе, в худшем случае замирала (он процитировал Лермонтова: «Но не тем холодным сном могилы... Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь»; а потом какого-то средневекового мистика, который сказал, что рукописи не горят, горит бумага, а буквы и написанное ими улетает, возвращается к Богу). За обычными людьми Кучмий признавал единственную роль – первого толчка, любим же мы, говорил он, знаем, помним, равняемся, подражаем – только литературным персонажам. Татьяне Лариной, например, или Павке Корчагину, и время помним – как их время.

«Кстати, – сказал Кучмий, – бóльшая часть этих суждений о литературе принадлежит не мне, я лишь адепт, их автор – следователь по фамилии Челноков. Я обязан отдать Челнокову должное: за те восемьдесят лет, которые я прожил на свете, мне не встречался ум более глубокий и тонкий, и я, несмотря на все издержки, благодарен судьбе, что она нас свела. Когда я в сороковом году был арестован, два следователя, которые сначала вели мое дело, требовали, чтобы я признался, что добиваюсь отделения Украины от России и являюсь главой подпольной вооруженной группы, созданной для организации взрывов и диверсий (список ее членов мне дали). Я считал себя невиновным, ничего не подписывал, кроме старого греха – принадлежности к лагерю философов-идеалистов. Для большого процесса этого, конечно, было мало. Мне устроили так называемый „конвейер“. Месяц меня почти непрерывно допрашивали и били, били и допрашивали, я уже давно был готов подписать на себя что угодно, только бы этот ад кончился, но оговорить людей, многих из которых я никогда не видел, я не мог, мне было страшно. Потом всё неожиданно кончилось, и я получил передышку. Лишь через неделю меня вновь повели на допрос. Дело теперь передали другому следователю, это и был Челноков. Он извинился передо мной за поведение своих

коллег, заверил, что они будут строго наказаны, а дальше сказал следующее:

„Мы, чекисты, хотим и спасем вас, таких же, как вы. Это наш долг. Писатели призваны сыграть главную роль в нашей революции. В книгах, которые они напишут, будут жить только люди, точно и твердо знающие, что и как надо делать для ее победы, враги революции останутся как фон, а остальные, все, кто думает лишь о своей шкуре, хочет переждать, пересидеть, остаться в стороне, – все они должны быть искоренены, и память о них тоже. Эти люди должны будут исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже что они вообще были. От них ничего не должно остаться, они должны сгинуть, как сгнули и растворились среди других народов бесписьменные печенег и половцы. Таков приговор, и литература приведет его в исполнение. Но мы, Владимир Иванович, мы, чекисты, спасаем этих обреченных. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим и многих из уже погибших. Год назад я добился папок для новых дел. На них написано: „Хранить вечно“. Подозреваемые боятся их, как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, будто в аду, станем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть.

Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня сразу есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем всё лучше понимаю его, всё легче подбираю ему связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление.

Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки, он становится для меня ясным, близким, родным, и я уже без труда нахожу самое сложное – детали. Тут важна каждая мелочь: и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я, как отец, породил и создал его, – и он сознаётся. Наступает главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек принимается с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом поспеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, вещи, о которых я, произведший его на свет, и не подозревал. Любой писатель знает – лучшие куски не те, что он придумал, а потом записал, а те, где, когда он писал, для него всё было новым, где он уже создал своих героев, они живые, и думают, и живут сами. Так же и мы. Поймите, разве нам нужен суд? Есть только вы и я“.

Здесь Челноков остановился, долго, словно припоминая, смотрел на меня, затем отвернулся и отошел в сторону. Лбом он прислонился к стене, руки его висели, и было видно, как он устал. Потом, по-прежнему стоя ко мне спиной, он сказал, что распорядится, чтобы меня перевели из камеры, где я сидел с уголовниками, в одиночку, в которой, как он думает, мне будет спокойнее и лучше.

„Пять дней вас никто не будет трогать – делайте что хотите, хоть спите целые сутки, но я прошу вас внимательно обдумать всё, что я вам говорил: кто, если не вы, философ, сможет понять меня“.

Этих пяти дней мне хватило, я увидел, что он прав, и когда меня снова отвели на допрос, сказал Челнокову, что он и его товарищи занимаются святым делом, действительно спасают людей, и поэтому я готов помочь им и подписать без изъятия всё, что они считают нужным. Однако у меня есть одно неперемное условие: то, что он говорил, должно быть внесено в протокол перед моим признанием, чтобы не только не погибли навечно люди, входившие в мою организацию, но и эти его слова – объяснение и оправдание всех нас».

Далее Кучмий снова вернулся к половой жизни литераторов и сказал, что он уверен, что скоро везде основой демографической политики станет размножение культур чистых

линий, какими являются писатели. Ведь они не только органичны и цельны, но и необычайно плодовиты. По самым скромным подсчетам, некоторые русские классики оставили после себя свыше тысячи прямых потомков, и это, если судить по Диккенсу и Бальзаку, отнюдь не предел. Первый час он закончил тем, что всем писателям должно присваиваться звание матери-героини с полным объемом причитающихся этой категории женщин льгот и привилегий. Нота была мажорная, уже прозвенел звонок, мы встали, и тут он каким-то мертвым голосом сказал, что у писателей нет материнского инстинкта: они самодостаточны и поэтому всегда убивают своих любимых детей. Они преступники и убийцы.

Второй час был посвящен социологии. Кучмий заявил нам, что давно назрела необходимость в полном и тщательном обследовании литературных героев. Сравнение с данными традиционных опросов позволит среди прочего дать совершенно точный ответ о соотношении того, что называется искусством, и того, что называется жизнью. Должны быть проанализированы не только численность, но возраст, социальное происхождение, брачность, количество детей, образование, профессии, квартирные и другие имущественные условия, которые в разные века были разные, сотни и сотни параметров, а также типы характеров, насколько счастливы в детстве, зрелости и старости и с чем это связано, кроме возраста; должны быть просчитаны встречающиеся в романах погода, еда, краски, запахи, болезни, вкусы, время года и время суток, пейзажи, настроения, особенно, если говорить о России, – ландшафты, деревья, цветы – словом, вся экология, и соответственно пересмотрены, если будет необходимо, наши традиционные представления, например, о длительности вечера в XIX веке: не два-три часа, как принято думать, а три четверти суток.

В своей третьей лекции Кучмий, наконец, добрался и до Гоголя. Судя по всему, Гоголь не относился к числу его любимых писателей. Походя он обвинил его в излишнем увлечении малороссийской живописностью и в использовании чужих сюжетов, потом отпустил несколько довольно плоских шуток о гоголевском носе, а дальше так, что мы сразу и не заметили, перешел к повести, носящей то же название, – «Нос». Мы думали, что он задержится на данной параллели, – всё направление лекции как будто вело к этому, – но он заговорил о другом. Сославшись на Виноградова, Кучмий сказал, что сюжет «Носа» бродячий, нос – герой многих анекдотов, анекдотом в первом варианте решалась и повесть, когда в конце концов оказывалось, что всё, случившееся с майором Ковалевым, было сном. Однако затем Гоголь переписал повесть: действие стало происходить наяву и сразу как бы повисло в воздухе, превратилось в полную и совсем незаземленную фантазию, вещь от этого совсем не проиграла, отнюдь, просто сделалась еще более странной. Но для Гоголя, сказал Кучмий, история Ковалева с самого начала имела не только это отстраненное и легкое, как всякий анекдот, решение, но и другое, куда более страшное: оно зашифровано в датах повести и дает всему, что было в «Носе», совсем иное объяснение и толкование.

Хотя действие во втором варианте и не сон Ковалева, оно идет в испорченное, искаженное, на самом деле никогда не бывшее на земле время, то есть как бы и не происходит вовсе. Если это время и есть, оно из мира дьявола, а не Бога.

Нос исчезает у майора 25 марта, в самый важный для человеческого рода день – в Благовещение, когда судьба людей была решена и изменена, когда начался путь спасения. От Адама до этого дня грех и страдания людей множились и росли, в Благовещение народы узнали, что будут спасены. 25 марта – день Благовещения у католиков, 7 апреля – день возвращения носа к Ковалеву – у православных, и поскольку весь календарь и вся история человеческого рода идет от Благовещения и от Рождества Христова и, значит, нового рождества человека, и вне Христа никакой истории нет и не может быть, то это время есть время мнимое, несуществующее. Время, когда благая весть, что родится Христос, уже была дана людям и еще не была дана, род человеческий знал, что будет спасен, и еще не знал, что скоро Христос, Сын Божий, будет наконец послан на землю, чтобы своей кровью искупить грехи людей. В сущности, эта разница в датах и в календаре, отнесенная туда, назад, на две тысячи лет, есть главное отличие веры православной от веры католической, и это

расхождение, раз возникнув и с каждым столетием нарастая, рождает странное, поистине дьявольское время, время, которого нет и которого становится всё больше.

Гоголь, говорил Кучмий, от своей сумасшедшей матери унаследовал необычайно живое, зримое и такое реальное, что отрешиться, забыть его было нельзя, виденье ада. Этот ад с его муками, страданиями, грешниками всегда был рядом с ним, начинался сразу же там, где кончался Гоголь, а может быть, частью захватывал и его, был в нем. Эта постоянная близость с самых первых лет, как он начал осознавать себя, к вечным и нестерпимым даже мгновение мукам (никогда не оставляющие его болезни и боли – их преддверие, а никому не понятные спонтанные переезды-бегства и почти восторженная, полная веры страсть к ним и к дороге – надежда скрыться и спастись) осмысливалась, объяснялась и дополнялась им всю жизнь. Вслед за пифагорейцами и каббалистами он из цифр дат своего рождения, из места своего рождения, из своей судьбы построил и понял и то, кто есть он сам и какая роль предназначена ему в судьбах России, мира.

Гоголь родился там, где два христианства – католичество и православие – давно пересекались, сходились и вращались друг в друга, где братья по крови: поляки, русские, украинцы – и братья по вере – и те и те христиане – враждовали сильнее, ожесточеннее и дольше всего – в месте, где они убивали друг друга, и в самом деле дьявольском. Украина, бывшая окраиной и для Польши и для России, была рождена их смешением и их ненавистью. То буйство нечистой силы, какое есть у Гоголя, – из его веры, что страна эта проклята и нет на земле места, где бы нечистой силе было бы лучше и вольготнее, чем здесь. Но той же верой был рожден и его пафос стоящего над всеми пророка и примирителя, соединителя и посредника, глашатая мира, братства, союза, терпимости между католиками и православными и учителя жизни, и вся его миссионерская деятельность, так плохо понятая современниками, и его жизнь после Украины сначала в столицах православия Петербурге и Москве, потом в столице католичества Риме, и мечта, наконец, осуществленная – поездка в Иерусалим – на родину начального, цельного, единого, нерасколотого христианства.

День рождения Гоголя по Григорианскому календарю – первое апреля – точно середина между католическим и православным Благовещеньем, нутро смутного, глухого времени – времени особой силы всякой нечисти, но и та дата, где должен был бы находиться компромисс между двумя церквями, где они могли бы сойтись, стать заодно и уничтожить нечистое время. В этой мистике дат вера Гоголя, что он как мессия предназначен соединить собой, а, может быть, и в себе самом католиков и православных – основание всего того, что он делал, чего желал и для чего жил, но также и безумие, и реальность, и страх, и невозможность бежать и скрыться от всякой чертовщины, которая искушала и окружала его, как когда-то Христа в пустыне. И в книгах он всегда хотел писать светлое и прекрасное, быть учителем, творцом идеального и чистого, гармонии, красоты, правды, а удавались ему одни карикатуры, почти дьявольские по точности и верности фигуры, явная нечистая сила во плоти, только зло удавалось ему писать талантливо, только фарс удавался ему, и когда перед смертью он сжег последнюю часть «Мертвых душ», это было его признанием, что писать и изображать он может лишь нечистое и несправедное в людях.

Как я уже говорил, в самом конце 63-го года наша семья переселяется в Томск. Уезжать я не хотел. Куйбышев – мой родной город, я люблю его, люблю Волгу, люблю степь, люблю тепло, здесь у меня остались друзья, осталась девочка, в которую я был влюблен еще со школы и с которой за день до отъезда мы едва не расписались. Но где и чем жить, было не понятно, мы решили проявить благоразумие и отложили всё до лета. Однако летом я поехал в экспедицию, до Куйбышева так и не добрался, мы перестали переписываться, потом она вышла замуж, а я женился: оба мы решили свою судьбу бездарно, оба скоро развелись и теперь снова пишем друг другу, раз в год видимся и думаем, не сделать ли петлю и довести до конца то, что собирались. Ее зовут Наташа, от первого брака у Наташи ребенок – мальчик Костя и, пожалуй, единственное, что меня останавливает, – как Костя примет меня.

Хотя ни я, ни мать никуда не хотели ехать, снялись мы без особых сомнений. Карьера

отца в Куйбышеве не задалась. Несмотря на всю его чрезвычайную деловитость, трудолюбие, энергичность, добросовестность – список положительных качеств можно было бы легко длить и дальше, – он ничего так и не смог добиться, всё чаще был в депрессии и считал, что жизнь обманула его. Томское приглашение было последним шансом, и мы это хорошо понимали.

В Томске с одной вещью мне очень повезло: тамошний университет тогда был на подъеме, куда сильнее Куйбышевского, что я сразу оценил. На третьем курсе, со второго семестра у нас началась история Сибири. Читал ее совершенно незаурядный по тем временам профессор Валентин Николаевич Суворин, кажется, внучатый племянник знаменитого издателя. Я решил специализироваться на суворинской кафедре и через год стал его учеником. Судьба Суворина, правда, в несравненно смягченном виде, повторяла судьбу Кучмия, и хотя они были совершенно и во всем разные люди, после Кучмия с Сувориным мне было легче общаться.

Суворин жил в Томске с тридцать третьего года, когда был выслан сюда из Москвы как причастный к так называемому «архивному делу» – он был любимый и, кажется, последний ученик С. Ф. Платонова. Сам Платонов в тридцать первом году был сослан в мой родной город, в Самару, его хорошо знали и помнили родители. Всё это выяснилось во время первого же разговора – оказалось, что у Суворина и у меня есть общие воспоминания, есть как бы общая история, – что тоже, конечно, нас сблизило.

Суворин в тридцать третьем году отделался легко, везло ему и впоследствии: Сибирь, Томск предохранили его от дальнейших посадок. Судя по тому, что он позволял себе говорить, в столице в тридцатые годы он не долго был бы на свободе. Во всяком случае, хотя в Куйбышеве мы входили в круг весьма вольный и даже свободомысленный, чего-либо подобного я не встречал. Но здесь, в Томске, Суворин был университетской, а значит, и городской знаменитостью, в городе этом ничего, кроме университета, не было – наверное, единственный у нас тогда, кроме Тарту, чисто университетский город – и все последовательно сменяющие друг друга первые секретари обкома берегли и в конце концов уберегли Суворина.

Защищали его не только они. Суворин возглавлял ведущую на историко-филологическом факультете – самом популярном среди городской знати – кафедру истории Сибири. Из восьми начальников областного ГБ, бывших здесь при Сталине, по словам Суворина, дети семи учились у него и были как бы дополнительным охранным листом. Кафедра Суворина была лучшей «сибирской» кафедрой во всей Сибири, давала чуть ли не половину печатной продукции факультета, и что, конечно же, стоит отметить, фактически всё, что давала кафедра, делал сам Суворин. Объяснялось это отнюдь не тем, что он не терпел рядом с собою равных, а его патологической любовью к бабам.

Из Москвы Суворин приехал в Томск с женой и годовалым сыном, уже здесь, в Сибири, у него в 38-м году родилась дочь, жена его, как рассказывали, была милая и чрезвычайно привлекательная женщина, ко всем его похождениям она относилась по видимости спокойно, но после какой-то особенно скандальной истории не выдержала, перед самой войной они фактически развелись и разъехались. В 53-м году, сразу после смерти Сталина, она вернулась в Москву вместе с детьми, и в мое время Суворин давно жил холостяком. Теперь ему было за шестьдесят, но по-прежнему баб он любил всех и всяких, демократизм его в этом вопросе границ не имел. Среди его любовниц я встречал и студенток, и семидесятилетних старух, по-настоящему красивых женщин (сам он был вальяжен и представительен), и грязных, всегда полупьяных экспедиционных поварих, в которых и женщину-то признаешь не сразу.

Состав суворинской кафедры целиком определялся его амурными делами: студентки, которым удавалось надолго привязать его, – работа эта была отнюдь не легкая – получали в качестве гонорара аспирантские места, и если отношения за три года не рвались, он писал им диссертации, а потом выбивал на факультете новые ставки. Система была столь отлажена и так всех устраивала, что за время жизни Суворина в Томске у него не было ни одного

аспиранта мужского пола. То, что он взял на кафедру меня – первого и единственного, – объяснялось не упадком его потенции, а тем, что характерно, насколько я знаю, для каждого большого ученого, – желанием оставить после себя учеников, школу. Конечно, мне повезло, и повезло крупно.

Кроме собственного классического курса по истории Сибири от палеолита до столыпинской реформы Суворин еще с довоенных лет для души много занимался расколом, всеми его направлениями, ответвлениями, толками. История Сибири была и историей раскола, сосланные или бежавшие сюда из России староверы были первыми, кто начал осваивать и распахивать ее. Здесь, в Сибири, в них нуждались и умели сквозь пальцы смотреть на то, сколькими перстами они крестятся, умели забывать про посолонь, не трогали и не мешали их вере. В глухих же медвежьих углах, которых и до сего дня немало уцелело в Сибири, они и вовсе по веку и более жили сами по себе, думали, молились, славили Бога, и никто даже не знал, что они есть, и они ни о ком не знали.

Занимаясь расколом, Суворин собрал огромную коллекцию староверческих книг и рукописей, каждый год он отправлялся как бы в собственные археографические экспедиции, беря с собой двух, редко трех студентов, – последние годы только меня – и мы по строгому плану объезжали район за районом, деревню за деревней. У Суворина был списанный, но прекрасно отремонтированный «газик» – единственная машина, которая худо-бедно могла ездить по сибирским дорогам. Там, где не проходил и он, мы нанимали в ближайшей деревне лошадь, а чаще просто шли пешком. Машина появилась у Суворина недавно, раньше весь путь был пешим, но теперь, в шестьдесят лет, ему это уже стало, конечно, не под силу. Самыми богатыми на находки были для нас заброшенные деревни, заброшенные или так, от времени, или выселенные в годы особенно жестокой в Западной Сибири коллективизации. Их местоположение он узнавал от своих студентов, многие из которых выросли в глубинке, хорошо знали округу, летом те же студенты или их родные становились нашими проводниками.

Еще в первую поездку меня поразил ритуал, который Суворин неукоснительно соблюдал в этих пустых, мертвых деревнях с давно заросшими кустарником лугами, с осевшими, почти по крышу спрятанными в крапиве и бурьяне избами. Перед тем, как зайти в дом, он минуту, словно собаку, гладил дерево, ласкал, приручал его и входил, только почувствовав, что он принят и признан, что его не боятся. Но дальше он обыскивал и обшаривал избу почти мгновенно, с азартом и лихостью удачливого вора и, закончив дело, всегда один – ни меня, ни других он до этого не допускал – отдавал нам распоряжения, как и куда паковать находки, если они были, шел к следующему дому. Там повторялось то же самое. Что особенно меня удивляло – это что он помнил все деревни; для меня же и те, которые были оставлены неведомо когда, может быть, в прошлом веке или даже еще раньше, и те, которые стояли пустыми с тридцатых годов, и совсем недавние, уже послевоенные, – всё равно: густой, выросшей на жирной земле травой, сыростью, прохладой, множеством птиц были похожи на старые деревенские кладбища. Собственно, они и были кладбищами, и я их не отличал.

Кроме книг, добытых им во время ежегодного полевого сезона, у Суворина в Томске были и свои специальные поставщики, у которых рукописи он покупал. Весной, обычно в мае, перед сборами в новую экспедицию, он большую часть приобретенных за последний год рукописей, обработав и описав, дарил университетской библиотеке, и лишь немногие, наиболее для него интересные или всё еще нужные для работы, оставлял у себя. Безвозмездная передача им рукописей, в том числе и купленных, библиотеке, была, наверное, главной причиной, по которой и город, и университетское начальство смотрели на его собирательство вполне доброжелательно, нисколько не препятствовали ему, а часто и охотно помогали. Совместные поездки с Сувориным, то, что он показывал и рассказывал мне, то, как он работал с источниками – 99 процентов моего образования, и, хотя, поехав с ним в экспедицию, я в итоге потерял Наташу, думаю, что тогда я, пожалуй, не был неправ.

Про суворинские экспедиции я слышал месяца через полтора после нашего переезда в

Томск – и сразу решил, что сделаю всё, чтобы он взял меня. Сибири я совсем не знал – ни природы, ни людей, а жить здесь мне предстояло долго. С Сувориным я мог увидеть самую глухомань, самую настоящую Сибирь, то, что, собственно говоря, и должно так называться; это было, конечно, весьма заманчиво, но одновременно я узнал, что попасть к нему очень не просто. С ним желала ехать чуть ли не треть курса, народ у нас был способный, несколько человек знали по два-три языка и одновременно хорошо – Сибирь, все вокруг было их, родное, а мне надо было еще не один год вживаться в эту почву, и, выбери меня Суворин, я вряд ли сумел бы быть ему так же полезен, как местные ребята. Я это понимал и тем не менее в середине апреля вместе с другими кандидатами пошел к нему на прием.

Каждый год Суворин брал разное количество людей, и сколько мест – было тайной до последнего дня. Система отбора была вполне демократичная: как и остальные, я был спрошен, почему хочу ехать и вообще, кто я и откуда. Я рассказал, и мы довольно долго говорили про Куйбышевскую область, тоже когда-то окраинную, подобно Сибири, и поныне населенную множеством старообрядцев, других сектантов; разговор я поддерживал достаточно умело, но было ясно, что особого впечатления на Суворина не произвел, и уже за чаем, когда он просто расспрашивал меня о Куйбышеве, я упомянул Ильина, что-то еще сказал, он заинтересовался, потребовал подробностей, и мы, будто пойдя по второму кругу, проговорили до полуночи. Наконец я собрался уходить, и тут Суворин вдруг спросил, не могу ли я прямо сейчас вкратце изложить ему учение Ильина. Я сказал, что могу, хотя за полноту и точность не ручаюсь, он дал мне несколько листов бумаги и, чтобы не мешать, пошел в другую комнату звонить по телефону. Конечно, и самого Ильина, и всё слышанное от него я помнил хорошо, и без труда выбрал и написал для Суворина то, что мне казалось тогда наиболее важным, сведя всё в десяток тезисов. Работа не заняла и получаса, Суворин по-прежнему говорил по телефону, говорил, кажется, с женщиной, я не стал его звать, оставил листки на столе и ушел.

Никакого продолжения этот мой визит не имел. Я был уверен, что шансов на экспедицию нет, и собирался на лето в Куйбышев, к Наташе, уже и написал ей, но в мае Суворин неожиданно позвонил мне домой и сказал, что, если я не передумал и по-прежнему хочу ехать, он меня берет, более того, мы едем вдвоем. Отказаться было невозможно, да и глупо, я послал Наташе короткое и вполне хамское письмо, из которого ясно было, что ей я предпочел экспедицию (я всегда требовал от нее абсолютной честности, и мое письмо было производное этой честности). Вдвоем с Сувориным мы ездили по Сибири почти два месяца, за это время сдружились, вообще он оказался в такой жизни человеком легким, открытым, без субординации и дистанции, и после возвращения я теперь как бы официально был избран на доселе вакантную должность ученика и наследника.

Кроме конкретной истории раскола, Суворина очень занимало то, как эволюционирует идея под влиянием внешней жизни, но особенно внутренних мотивов, самый механизм ее изменений. Путь, который прошли старообрядцы за полтора века от неукоснительной защиты всего и вся в старой вере до хлыстовства, а было немало и другого, требовал понимания. Старообрядческих толков и направлений были десятки и сотни, нередко соседние деревни веровали по-разному; такая поразительная изменчивость, и главное, что всё пошло от одного очень четкого и определенного корня и часто не испытывало почти никакого стороннего влияния, лишь своя собственная внутренняя работа в почти лабораторно стерильных условиях – деревни среди болот и глухой тайги; множественность вер и направлений, мутации, частые, как у любимых генетиками дрозофил – и это при том, что никто не хотел ничего нового, наоборот, цель – донести, сохранить в первоначальной святости, чистоте, и, следовательно, перемены – отнюдь не ради перемен. Они и не видны были тем, кто сам менял, менял чудовищно резко и так быстро, что разрывал, – для подобных наблюдений Сибирь давала, конечно, несравнимый по богатству материал, и схемы преемственности и развития старообрядческих толков, которые проследил и построил Суворин, были, пожалуй, столь же тщательные, как сделанные историками русского летописания.

Специально для собиравшихся ехать с ним в экспедицию Суворин с апреля (хотя и не каждый год) у себя дома устраивал по вторникам коллоквиумы, посвященные истории русской церкви. Шли они следующим образом: Суворин читал короткую, не больше чем на час, лекцию, а потом, после недолгого перерыва, уже за чаем, каждый из нас высказывал свои соображения об услышанном. Продолжалось это обычно до глубокой ночи, мы редко когда сходились на одном, но Суворин и не стремился свести наши взгляды к единому знаменателю, на себя он брал только справки, да если мы настаивали, строго фактические консультации. Долгое время я думал – да он и не скрывал этого, – что ему просто нравилось нас слушать: так не похоже было то, что мы говорили, на привычную университетскую рутину и так похоже на то, что было в его молодости, – но позднее понял, что и для себя Суворин извлекал из коллоквиумов немало интересного.

Споря, мы высказывали оригинальные, а подчас и великолепные по своей парадоксальности идеи, азарт и его невмешательство делали всё простым и свободным, и он эти находки легко замечал, вычленял, даже если они были случайны и плохо аргументированы, – у него был открытый, без субординации ум, – и нередко потом использовал в своих работах. К сожалению, из-за такой необычной для семинаров формы «вторников», насколько я знаю, ни у кого, и у меня в том числе, не сохранилось никаких записей и конспектов, кажется, их никто никогда и не делал. Это повелось еще с тридцатых годов. Лекции были далеки от традиционной точки зрения, и, попади записи в чужие руки, они, несмотря на все покровительства, могли стоить Суворину головы.

Он сам к ним никогда не готовился, лекции его были чистой воды импровизацией, мы это и знали, и чувствовали, и вслед за ним тоже легко импровизировали. Свобода, некоторая необязательность, неотделанность, неокончателность, возможность ошибки была мастерски задана им и на этом уровне. Лишь позже, незадолго до смерти – правда, Суворин тогда отнюдь не собирался подводить итоги, ни он сам, ни другие и не думали о близком конце, так много в нем было жизни и силы, – он решился обработать и свести воедино то, что рассказывал нам на семинарах, сказал мне, что начал, но единственное, что мы, разбирая архив, нашли в его бумагах – фрагмент первой, вводной лекции.

История России и история той части восточного славянства, которая звала себя русскими, интересовала его только с периода, когда она стала вычленять себя из единой христианской культуры, когда начала отличать себя от других, одни эти отличия и интересовали его, его вообще на любых уровнях интересовали личности и отличность от других.

Русское государство Суворин считал созданным, изначально и намеренно создаваемым не медленно и тяжело растущими хозяйственными связями, всем тем, что называется прозой жизни, а идеями, пониманием своего места и своей территории в их мире, пониманием своей судьбы, своего предназначения и отличия от судьбы прочих. Это отличие соединяло, скрепляло, сплачивало живших здесь и, наконец, свело их в народ. Если бы не оно, не было бы и России. Истоки его были совсем слабыми, рождено оно было, кажется, всё более и более глубоким одиночеством – рядом или никого не было, или были чужие: язычники, магометане, – русские были брошены и забыты единоверцами, окружены врагами и думали, что остались последними. То, что они одни и последние, очень рано сделалось центром русской философии, очень рано было осознано властью, да и самим народом как главная опора и фундамент государства.

У Суворина была довольно своеобразная концепция развития человеческого рода; он считал, что у людей есть два генома – биологический, как и у всего живого, и второй, он называл его «геномом души», который начинает строиться тогда, когда ребенок уже родился. Суворин говорил, что человек, едва он появился на Земле, знал, что его жизнь здесь – только ничтожная часть всей жизни, а Земля – ничтожная часть мира, созданного для него Господом. Среди тысяч и тысяч племен, бывших на Земле с сотворения рода человеческого, не было ни одного, кто бы думал иначе. Каждый человек, учась жить в большом мире Бога – вера и есть учение об этом мире, – в котором даже смерть была началом новой жизни,

постигая и понимая его строение, его правила, его законы, его цель и смысл, всегда относился к нему как к целому и приспособлялся к нему тоже как к целому. Миры человека были несравненно шире, больше, сложнее мира, в котором жили не ведающие о Боге звери и птицы. Этих миров было множество, и ойкумены разных народов пересекались лишь земной, совсем малой своей частью, потому нам так трудно и невозможно понять другой народ, другую культуру, и потому же, если враг захватил твою страну, он захватил только землю, и ты уцелеешь, выживешь и даже сможешь вернуть потерянное, если сохранишь веру.

Проводя параллель между историей человеческого рода и историей России, Суворин думал, что главную роль в становлении русского государства сыграл именно большой мир – для него оно и строилось, под него подгонялось; из тех, кто его делал, мало кто думал о земле, части России здесь и там были разительно непохожими. Тут было еще детство, всё было младенческое и грудное, но ребенок был нелюбим, презираем, его стыдились, учили одной палкой, и народ, который вырос, был как гадкий утенок, знающий, что придет время и он превратится в лебедя, ждущий и живущий только этим. Это несоответствие и тогда, и дальше рождало серьезные проблемы и комплексы, развитие народа не было равномерным: в большом мире оно опережало всех или почти всех – на земле было замедленным и ущербным.

Государство началось в России в XV веке, при Василии Темном, несмотря на 25-летнюю смуту, плен и ослепление князя, увеличилось при нем во много раз и – снова во много раз – при его сыне Иване III. При Василии же, когда государство так успешно собиралось и складывалось на карте, стало нужным понять, что получается и для чего всё это. Тут и подоспело событие, которое «сделало» русскую историю. В 1439 году во Флоренции был церковный Собор, на котором после четырех веков раскола католики и православные заключили унию; турки тогда осаждали Константинополь, вот-вот готовились его штурмовать, и православный патриарх, надеясь на помощь папы, веря, что он сумеет поднять новый крестовый поход и спасет Византию, пошел на унию и на признание верховенства Рима. Но папы были уже не те, крест почти никто не принял, и через четырнадцать лет Византийская империя пала.

Во Флоренции Россию и русскую церковь представлял грек Исидор, он был сторонником унии и присоединился к ней. Когда он вернулся в Москву, его прогнали с митрополитства, посадили в тюрьму, и Россия, единственная из православных церквей, бывших на Соборе, отвергла унию. Это был первый акт самостоятельной жизни и своего собственного понимания ее. То православие, которое созидалось в России после прихода татар, почти вне всяких контактов с Византией, то вырабатывавшееся несколько поколений отношение к вере, в котором окруженность и одиночество были главным, завершила Флоренция. С Флоренции Россия поняла себя единственной, последней хранительницей истинной веры, и в падении Константинополя увидела подтверждение измены и наказание греческой церкви за измену, за предательство – Господь бы спас, как спасал и спасает всех праведных, а они, патриархи, погубили. И когда вскоре за концом империи греки тоже порвали унию, в России знали, что идут они вслед за русской церковью, которая единственная не предала, не изменила, не прервала истинного служения, осталась верной Богу, и, значит, как говорил Христос, стали последние первыми. И это уже навсегда.

За чаем кто-то из нас спросил Суворина о Никоне и о Воскресенском Новоиерусалимском монастыре: что сделало возможным строительство и повторение Иерусалимского храма, как можно было отказаться от понятия святости места и почему это произошло именно в России? Суворин начал отвечать с непривычной для нас медленностью и неопределенностью, он словно колебался и для себя еще ничего не решил. Это было странно и не похоже на него, тем более, то, что он говорил, было, в сущности, совсем не сложным и не требовало такой осторожности и стольких сомнений, или причина была не в его неуверенности, а просто ему хотелось уйти в сторону, свернуть с дороги, на которую мы его старательно загоняли и на которой он чувствовал себя несвободным. Мы явно ждали

более точных ответов, чем те, которые здесь могли быть, и он, всегда так любя точность и законченность, уклонялся. Словами, которые мы соединили в вопросы, был задан и уровень ответов, а он уже переходил к другому уровню, к другому словарю, его больше интересовал характер Никона, его личность – это было теплым и живым, – чем то, что Никон строил и в чем был созвучен России. Но и Россия его занимала, и наши вопросы он считал вполне законными. Сам он давно стал перерастать то, чему учил нас, но признавал за нами правоту, ведь обучены мы были именно им.

«На Истре, – сказал он так, как будто это всё объясняло, – очень красиво, и для иноческой жизни место лучше сыскать трудно. После удаления из Москвы Никон жил в Новом Иерусалиме безвыездно, потом был сослан в Ферапонтов монастырь, мечтал вернуться или хотя бы быть похороненным в Новом Иерусалиме, и в конце концов царь Федор Алексеевич разрешил ему возвратиться. Правда, вновь увидеть свой монастырь Никону уже не довелось: по пути туда он скончался, но похоронен был в Воскресенском храме – на том месте, которое еще до ссылки себе приготовил.

Всего, – говорил Суворин, – Никон основал три монастыря: Иверский, Крестный и Воскресенский Новоиерусалимский – последний, младший, был его любимым. Те обители были подготовкой к строительству Нового Иерусалима. В 1653 году он в Новгородских землях, на берегу Валдайского озера, которое переименовал в Святое, начал ставить монастырь в честь чудотворной иконы Пречистой Богородицы Иверской и нового святого чудотворца митрополита Филиппа, мощи которого он перевез из Соловецкого монастыря. И Иверский монастырь он старался возвести „по образу и подобию“, сколько можно повторяя очертания Иверской обители на Афоне. Строя монастырь, он в то время часто ездил между Москвой и Валдаем и почти всегда останавливался в сорока пяти верстах от Москвы в селе Воскресенском, которое принадлежало Роману Боборыкину. Село его стояло на высоком берегу извилистой и быстрой Истры, и если они приезжали сюда засветло, Никон оставлял сопровождающих его монахов готовить ночлег, а сам – всегда один – уходил гулять. Ему было хорошо здесь, и иногда он по два-три дня жил в Воскресенском и только потом трогался дальше.

Строительство монастыря Никон начал в 1656 году, сразу как получил на это согласие Алексея Михайловича. Основан он был рядом с селом на полуострове, окруженном с трех сторон излучиной Истры. Посреди полуострова была небольшая, покрытая густым лесом гора, ограниченная с юга и запада скатами, а с севера, со стороны реки, обрубленная крутым, почти отвесным берегом: на ней и решено было заложить обитель. В первый год вырубил лес, чтобы расчистить место, а гору с двух сторон окопали – сделали то ли длинное и глубокое русло, то ли просто ров – землю же оттуда на телегах свезли наверх, подняв южную сторону горы.

Работы шли очень быстро, и к следующему, 1657 году был вчерне готов деревянный город с восемью башнями, собрана братия и окончена церковь Живоносного Воскресения Христова, на освящение которой Никон пригласил Алексея Михайловича со всем царским Синклитом. Сам Никон и освящал новый храм. Потом он водил царя по местам, которые любил, – и вдоль реки, и вокруг монастыря – показывал и рассказывал, что и где он хочет возвести, и уже на обратном пути, когда они поднялись на гору, которая ныне называется Елеон, и долго, стоя рядом, смотрели на строящуюся обитель, на реку и цепь холмов за ней, царь сказал: „И вправду Господь изначала благословил это место для монастыря, потому что прекрасно оно, подобно Иерусалиму“.

Можно думать, что Никон подводил царя к этой мысли, рассказывая ему, пока они шли, о Святой земле, об Иерусалиме, о том, как и где он стоит – сады, холмы, источники, рощи, – всё время как бы проводя параллели между Иерусалимским храмом и новой обителью.

Параллели были чисто внутренние, Никон ни разу не назвал рядом Иерусалим и свой монастырь, но они всё равно были вместе, потому что видели и ходили он и царь вдоль Истры, по истринским холмам и перелескам, а говорили об Иордане, Иерусалиме и Храме

Гроба Господня. Было правильно, что он удержался и ни разу не сравнил Иерусалим и собственную обитель, поэтому у Алексея Михайловича сохранилось ощущение, что он сам всё понял и сам ко всему пришел, и была радость, когда он сказал Никону о подобии его монастыря и Иерусалима и увидел, как Никону это понравилось, как в нем это отозвалось, увидел, что он или угадал, или подсказал Никону то, чего тот так желал. Всё еще радуясь, что он угодил Никону, – он вообще любил, чтобы людям вокруг него было хорошо, – что поездка удачна, Алексей Михайлович через несколько дней уже из другого монастыря, из монастыря Саввы Чудотворца, напишет Никону письмо, где будет впервые и название „Новый Иерусалим“, и разрешение, и согласие, и поддержка того, что станет для Никона делом жизни».

Рассказывая это, развеселился в свою очередь и Суворин, было видно, что и ему хорошо и он рад, что Алексей Михайлович оказался ласковым и умным человеком, что у царя и Никона добрые отношения и что всё так просто, легко и ко всеобщему удовольствию разрешилось. В тот момент я, да и наверное не один я, глядя на его улыбающееся лицо, подумал: как всё же хорошо жить и как хорошо иногда не знать о завтрашнем дне. Потом и Суворин вспомнил, что было дальше между царем и Никоном, и уже совсем другим голосом, скучно и, пожалуй, даже зло продолжил:

«По многим и многим свидетельствам Никон ждал в 1666 году или на 33 года – на земную жизнь Спасителя – позже (скорее, первая дата) начала конца света. Он не был исключением. Известно, что и в Западной и в Восточной церквях пасхалии были рассчитаны лишь до 1666 года и ожидание конца было тогда, несмотря на модный рационализм, почти всеобщим.

Если старообрядцы в расколе церкви, который шел от Никона, видели главное свидетельство и подтверждение, что настанут последние времена, то и сам Никон, исправляя книги и богослужение, готовил православную церковь не к продолжению жизни, а к этим последним временам, которые и не могли наступить из-за того, что Третий Рим неправильно славил Бога. Никон знал, что все православные церкви должны быть соединены и, главное, соединены русские, греки и малороссы, и в том, как славят они Бога, не должно быть никакого отличия, иначе, когда настанет срок, не признают они друг друга за своих, и Господь их не признает. И второе: чтобы Христос снова пришел на землю и спас людей, он, Никон, должен построить на Руси храм точно такой, как Иерусалимский храм Воскресения Господня и, следовательно, завершить многовековое перенесение Святых мест, имен, реалий, святой истории на русскую почву, окончить превращение Руси в Святую Землю.

Тут, – сказал Суворин, – надо вспомнить судьбу Никона и его главных противников: Аввакума, Неронова, Павла Коломенского. Все они, и Никон, и расколуучители, были или мордвины, или родом из мордовской земли, были или новообращенными, или из земли новообращенных, вера для них или рядом с ними была еще нова и непривычна, не стала ритуалом, в них были страсть и преданность прозелитов, для них всё было живо, всё задевало, трогало, лично касалось, они должны были в святости и преданности догнать тех, других, которые верили из поколения в поколение; им было страшно, что было бы, если бы до Страшного Суда они не успели креститься. Им казалось, что они успели последними. По большей части они были книжники, ценили, уважали книги и знали веру по Писанию и отцам церкви. Безразличная, ритуализированная вера была для каждого, невзирая на характер и темперамент, чужда, и они боролись и сопротивлялись ей, как могли. Вера не была для них традиционной, и они могли веровать только правильно, абсолютно правильно, у них не было возможности веровать и молиться так же, как молились их отцы и деды – отсюда их крайность в поисках истины. Недавнее крещение заставляло и преданностью, и праведностью, и подвигами искупать грехи своих предков, культ которых продолжал ими чтиться, а возможно, и соблюдаться.

И всё же вера их была раздвоена. Они знали традиционное христианство, то христианство, которое было вокруг: в нем все и на всё клали кресты, и это было главным и достаточным в вере. Кресты отгоняли нечистую силу, спасали, крест был везде – голый

крест, без Христа. Близость звучания слов позволила соединить крест и Христа, а потом отодвинуть Христа. Нигде, ни на колокольне, ни на натальном кресте не было Христа, был крест, так похожий на меч – лезвие, перекадина, рукоять, – им пронзали и пригвождали врагов, словно и вправду Христос пришел принести на землю не мир, но меч. И еще: иконописцы могли изобразить человеческую природу Христа, божественную же не умели, или во всяком случае, она выходила ущербнее, меньше, чем человеческая, и вот крест – орудие пытки, но и символ крестной муки, символ страдания, претерпленного Богом за человека, стал символом божественной природы Христа и для православных затмил и заслонил человеческую, которой так много в Писании.

В юности Никон и другие недавние христиане заново и свежо прочли Новый Завет, а некоторые и Ветхий, и их поразило, что в Священном Писании никого, кроме евреев, нет; да, там есть, что евреи распяли Христа, но нет никого, кроме евреев. В Новом Завете есть те евреи, которые распяли Христа, и те, которые Его признали, пошли за Ним, но больше – никого, во всяком случае, Христос ни о ком не знает и не хочет знать и говорит это недвусмысленно. Только в посланиях апостолов – учеников, а не самого Спасителя – появляются другие народы, но и они в вере – ученики евреев. Эта ограниченность мира, его замкнутость на евреях поразительна, и не обратить на нее внимания было невозможно. Непонятно даже, кто мог осудить евреев, кто мог признать их виновными, когда никого нет. И главное: в Евангелиях нет Святой Руси, нет нового избранного народа, хранителя истинной веры, спасителя человечества. Мессия был предсказан многими пророками Ветхого Завета, новый же избранный народ никем предсказан не был и, кажется, Христос вообще о нем не подозревал.

Примирить Святую Русь с Писанием можно было лишь на символическом, полностью очищенном от истории, от того, что было на самом деле, прочтении его. В христианстве изначально огромную роль играло понятие святости места, освященности всего и вся, что было связано и что окружало Христа, что с ним соприкасалось или хотя бы стояло близко от него и получило, и сохранило часть его святости. И для русской церкви это было важно, но Новый Завет сделана была попытка понимать чисто словесно и условно, оторвать происходившее в Евангелиях от Палестины, от реалий палестинской жизни, и времени тоже; перенести и названия, и постройки, и действие в другое место, в Россию, сохранив в неприкосновенности и святость их и силу. Она победила в России и позволила создать всё наново: и святой народ, и святую землю, и Иерусалим – святой град. Святость места была уничтожена, осталась лишь святость названия, святость имени. Была утрачена и побеждена важнейшая составляющая христианства – его историзм, то, что делало и жизнь, и судьбу Иисуса Христа однократной, необратимой, линейно направленной, а не развивающейся по кругу и, значит, ничего в ней не повторишь, ничего и никогда не вернешь».

Суворин умер в октябре 65-го года; у меня тогда начался третий год аспирантуры и я начерно перепечатывал диссертацию, чтобы дать ее ему на прочтение. Судьба настигла Суворина там, где, собственно, и должна была: в жизни его было две страсти – работа и женщины, он не разбрасывался, вторая, а по правде говоря, – первая и сгубила его.

Он умер, по всем понятиям, в расцвете сил – ему было 65 лет, но на вид нельзя было дать и 50-ти, – в квартире своей аспирантки Нади Полозовой; злые языки утверждали, что не просто в квартире, но в ее постели и даже прямо на ней. Разговоры эти не затихали долго. Надю профессионально травили, а потом, чтобы закончить историю, отчислили из университета.

Ее вообще многие не любили, считали дурой и сумасшедшей. Всех раздражало, что к кому бы Надя ни шла, она так, что отказать было нельзя, просила встретить ее, а когда будет уходить, обязательно проводить до ближайшей трамвайной остановки. Она говорила, что сама дойти не может, потому что боится собак. Мы считали это идиотским кокетством, и когда надо было идти, ругали ее, как могли. Кажется, всё же это было правдой. За месяц до смерти Суворина вечером мы с ней вдвоем шли по двору, и она, едва заметив вдали маленькую лайку, истерично схватила меня за руку, сжала, потом с силой толкнула вперед,

так, что я оказался между ней и собакой и как бы прикрыл ее. Оглянувшись, я увидел, что она старается не закричать, стискивает зубы, и при этом ее лицо – глаза, скулы и особенно губы – непрерывно двигается. Когда лайка ушла, Надя заплакала.

Сцена показалась мне преувеличенной и смешной, и я иронически спросил, откуда взялась эта собачья мания. Глядя мне руку, она сквозь слезы подробно и виновато стала объяснять, что до двух лет собак совсем не боялась, даже любила их, но дальше ей долго пришлось жить без матери, мать ее куда-то должна была уехать, одной с отцом, а он как раз боялся собак страшно, куда сильнее, чем она сама. Когда-то в детстве его покусала и чуть не загрызла овчарка. Отец не мог видеть собаку без крика. Раньше и она тоже кричала, но теперь научилась не кричать. Она замолчала, и я понял, что она ждет, что я похвалю ее и одобрю. Не зная, что сказать, я поцеловал ей руку. Немного успокоившись, она отпустила меня, пошла рядом и только скучно продолжала жаловаться, что ей всегда не везет: когда ее кто-нибудь провожает, собаки им почти не попадают – сегодня редкий случай, – а если она одна, тут-то они ее и поджидают.

Травля Нади шла под знаком любви и преклонения перед Сувориным, которого, по общему мнению, она буквально з...бла; все сходились, что Надя была не в его вкусе, и то, что их отношения продолжались больше пяти лет, с ее второго курса, объяснялось ее почти нездоровой сексуальностью и грубым напором. Но это неправда.

Надю не только выгнали из университета, но довольно скоро выжили и из города. Лет через пять я случайно встретил ее в Кемерове на педагогической конференции, ей еще не исполнилось тридцати, но выглядела Надя далеко не молодо. Мы тогда оказались в одной очереди в буфете, она, судя по всему, меня сразу узнала, а я понял, кто это, лишь когда увидел, что какая-то женщина делает всё, чтобы я ее не заметил. На ее уловки я не обратил внимания, подошел, изобразил на лице живейшую радость и стал расспрашивать, что и как. Она так и не защитилась (хотя я помнил, что диссертацию Суворин написать ей успел), работает в школе, преподает историю от античности до наших дней, замуж не вышла и ни о чем не жалеет. Мы проговорили до начала заседания.

Надю мне, в сущности, жалко. Суворин спокойно и даже, пожалуй, изящно соблазнил ее, было это у меня дома и, следовательно, на моих глазах, и когда они тогда пошли в кабинет отца, я не отказался бы с ним поменяться. Она была чуть ли не лучшей за многие годы его пассией: она поила его, кормила, следила за гардеробом. Всё это незаметно, мягко, без нажима, и я встречал людей, которые думали, да и говорили, что вот он, кажется, нашел наконец тихую гавань. Кто знал, что так обернется. Ей, конечно, не повезло, эта история и его смерть, где бы он ни умер, на ней или рядом, ее сломали, и вряд ли она сумеет подняться, а ему можно позавидовать.

После смерти Суворина главным вопросом, волновавшим всех, было: что будет с его собранием, в первую очередь, с рукописями. Университетская библиотека, давно привыкнут ежегодно получать от него почти по полтора десятка манускриптов, ничего предпринимать не стала, считая, что владелица собрания, конечно же, она; пускай пройдут положенные шесть месяцев, ее сотрудник всё заберет и начнет описывать. Работа эта была сладкая – готовая диссертация, причем перворазрядная, и желающих заняться ею было немало. Но всё оказалось не так просто. Завещания Суворин не оставил – это было естественно, о смерти он никогда не говорил, и, кажется, не думал. Для библиотеки отсутствие завещания было плюсом, но тут выяснилось, что у Суворина есть прямые наследники, о которых все успели забыть, но они были, и в конце концов суд, и областной, и республиканский, решил дело в их пользу. Надо сказать, что позиция университета была довольно прочная: во-первых, сам Суворин, пока был жив, из года в год безвозмездно передавал ему рукописи, во-вторых, не слишком законный характер экспедиций и, главное, – обещание библиотеки сохранить рукописи как единое мемориальное собрание и тем самым увековечить его имя. Последнее было сильным аргументом, и всё же суд встал на сторону наследников.

На похороны из ближайших родственников Суворина – жены, с которой он так формально и не развелся, сына – ему было тридцать четыре года, и дочери, – прибыл только

сын. По его словам, мать и сестра не смогли приехать, потому что у них не было денег на билеты. Сын Суворина был, конечно, странный малый – огромный, белобрысый голубоглазый бугай с простым, как все с удовлетворением отметили, крестьянским лицом, он приехал с маленьким чемоданчиком в одной руке и плетеной корзинкой в другой, в которой сидели три очаровательных котенка. С этими котятками он пошел и на похороны, с милой улыбкой объясняя, что котятки боятся оставаться одни в незнакомом городе и он не может их травмировать. В Томске он пробыл ровно два дня. Никаких денег Суворин не оставил, одни долги, правда, мелкие, сыну его Александру деньги были нужны отчаянно, кажется, у него не было даже на обратный билет, и он предложил за две тысячи купить рукописи библиотеке – сумма скромная до чрезвычайности. Но библиотека по-прежнему продолжала быть уверена, что собрание достанется ей так, задаром, и наотрез отказалась. Тогда он обратился ко мне.

Я сбился с ног, занимаясь похоронами, мне было не до рукописей, и переговоры с университетом сначала он вел сам, явился на прием к ректору всё с теми же котятками, но из этого вышел только глупый и никому не нужный скандал. Перед отъездом он снова принялся убеждать меня, что университет упрямится зря: суд несомненно решит дело в пользу семьи, и повторил, что просит за рукописи две тысячи. В Москве он сможет выручить за них куда больше – это было ясно, но ему дорога память отца, и он хочет, чтобы рукописи остались в Томске. Юрист – наш знакомый – тоже считал, что если будет процесс, семья его легко выиграет. На прощанье Александр стал одалживать у меня сто рублей. Я дал, и уже на аэродроме он вдруг сказал, что советует мне самому за полгода собрать деньги и купить рукописи, без них моя работа, вне всяких сомнений, встанет, неужели я один или вместе с другими учениками Суворина не сумею найти двух тысяч? Это было разумно; в нем вообще была странная смесь практичности и идиотизма.

За два месяца до нашего разговора умер дед и оставил отцу наследство – полторы тысячи рублей, которые на семейном совете – с добавлением трех сотен – было решено подарить мне в виде нового «Москвича» – запоздалая компенсация за согласие уехать из Куйбышева. Отец давно, особенно когда выяснилось, что из-за переезда я расстался с Наташей, чувствовал себя виноватым и искал случая хоть что-то для меня сделать. Машина – было, конечно, здорово, но, обдумав сказанное суворинским отпрыском, я решил, что, пожалуй, все-таки прав он, и на деньги надо покупать не машину, а рукописи, без них мне действительно никуда. Я поговорил с матерью, потом с отцом, оба неожиданно легко согласились, отец сказал, что деньги мои и я вправе распоряжаться ими, как хочу. Через два месяца, когда вопрос о наследниках окончательно решился, я написал в Москву, предложив за них те 1800, которые у меня были. Через неделю пришла телеграмма: согласен, высылай купчую.

Была еще одна вещь, которую я теперь должен был незамедлительно урегулировать. Я не хотел, чтобы в университете думали, что я так или иначе «увел» библиотеку Суворина, тем более сейчас, когда она подешевела на двести рублей. Не только для моей карьеры, но и для всех отношений это было бы катастрофой. Думаю, что меня ждала та же участь, что и Надю Полозову. Подготовившись, я пошел к ректору, всё до последней детали ему объяснил, пересказал каждый свой разговор с сыном Суворина, и в конце концов добился, что он одобрил мои действия и безусловно признал во мне патриота Томска, который, не пожалев огромной суммы, спас рукописи для университета. В итоге мы договорились, что книги Суворина я полностью и незамедлительно дарю университету, а с рукописями дело откладывается, пока библиотека не наберет заплаченную мной сумму и не выкупит у меня их. Потом вся эта история забылась, денег, естественно, ни у кого не нашлось, но я, охотно и спокойно пуская любого работать в Суворинском собрании, до сих пор сохранил репутацию не просто порядочного человека, но неподдельного альтруиста.

Полгода спустя, когда архив уже был перевезен на мою квартиру, ко мне пришел некто Кобылин и сказал, что он много лет продавал рукописи Суворину, назвав среди своих несколько самых интересных, и теперь, если я хочу, готов поставлять товар мне. Я, конечно,

хотел. Рукописи Кобылина и то небольшое, что он рассказывал о себе, и легли в основу этой работы. В моих руках только это и было: рукописи да несколько коротких разговоров, так как, несмотря на настойчивые попытки убедить Кобылина отвезти меня туда, откуда он их привозит, Кобылин отвечал категорическим отказом.

Первым, что он принес на продажу, были не старообрядческие рукописи, а книги, дневники и другие бумаги, принадлежавшие французскому комедиографу и владельцу кочевой театральной труппы – это всё, что я сам сумел разобрать – Жаку де Сертану. Написаны они были по-бретонски, и пока я в Сибири разыскал человека, который знал бретонский и согласился мне их перевести, прошло три года. Нашел я его совсем рядом, просто-напросто в соседнем доме, когда, отчаявшись, уже решил везти мое добро в Москву и отдать его там кому придется. Все-таки мне так не хотелось выпускать дневник из своих рук, что я месяц за месяцем медлил, выдумывал то одну причину, то другую, и, наконец, дождался.

Переводчика, знавшего бретонский, звали Миша Берлин. Это был печальный и, в сущности, очень несчастный человек. Его отец, Поль Берлин, французский еврей, в начале тридцатых годов по коминтерновским делам попал в Москву и работал здесь во французской секции до зимы 39-го года. После капитуляции Франции его посадили, и в каком-то североуральском лагере он уже на исходе войны погиб. Мать Миши была русская, когда мужа посадили, ее с сыном выслали из Москвы в Иркутск. Как и мой отец, она была врачом, урологом; позже, в шестидесятые годы, они с Мишей перебрались в Томск, где жила ее сестра.

Миша Берлин, совсем не помня отца, – тот был арестован, когда Мише не было и двух лет, – боготворил его, был буквально им болен, в доме вообще был культ старшего Берлина и культ всего французского. Историю Франции, французскую литературу Миша знал замечательно, особенно средневековую поэзию, которую давно для себя переводил. Отец его был родом из Бретани, из Бреста, на бретонском говорил с детства, и Миша тоже мог и читать, и говорить на этом языке.

В биографии Жака де Сертана было множество иногда буквальных совпадений и пересечений с жизнью Поля Берлина. Оба они происходили из Бретани, оба, попав в Россию, прожили здесь ровно одиннадцать лет, и оба были сосланы в Сибирь; Сертан на пути туда, уже перевалив Урал, умер в поселении Сухой Лог, а Берлин, которому оставалось жить еще целых пять лет, провел их в лагере под Краснотуринском, где и погиб в апреле 45-го года. Это, как я называл их, большие совпадения, но были и другие. В Москву Берлин и Сертан попали в один и тот же день, 14 января; так же в один день, 17 июля, они были сосланы в Сибирь, оба этапировались через Сухой Лог, и последнее – оба умерли в сорок четыре года. Всё это было, конечно, весьма странно, и пока мы день за днем и страница за страницей переводили дневник, я с некоторым изумлением видел, что Миша всё чаще думает, что его отец и Сертан как-то связаны: это походило на сумасшествие, но и я время от времени испытывал нечто подобное. Во всяком случае, и его и меня бесконечные параллели жизни Сертана и Поля Берлина, которые Миша тут же вычленял и подробно комментировал, не могли не поражать. На Мишу это сходство, естественно, действовало куда сильнее, и очень рано, еще в первый день нашей работы, он, не имея своих собственных воспоминаний об отце, только то, что рассказывала ему мать, стал дополнять отца кусками жизни, взятыми из дневника, он как будто считал жизнь Сертана ничейной, бесхозной и хотел забрать ее себе.

Сам Сертан был ему, по сути, безразличен. Для меня, наоборот, при вполне спокойном отношении к ним обоим, Сертан всё же был живее, ближе и занимал больше, чем Поль Берлин. Я был глуп и хорошо помню, что защищал тогда Сертана от Миши, как мог, нередко довольно грубо, из-за чего мы всё время ссорились. Я и Миша были не в равных условиях. Для него это было делом жизни, а я стоял за абстрактную справедливость.

По-настоящему плотно и всерьез переводом дневника мы с Берлиным занялись не сразу. Сначала я даже не думал об этом. Мне было важно хотя бы в общих чертах знать, что там находится, – и всё. История жизни французского комедиографа в России была для меня

скорее редкостью, разнообразящей работу, чем самой работой. Конечно, понять, почему ссыльные взяли с собой в Сибирь, а потом три века старательно, раз она сохранилась до наших дней, берегли тетрадь, написанную на языке, ни одного слова которого они не знали, было очень интересно. Возможно, это кое-что объяснило бы в истории той секты или того старообрядческого толка, чьи рукописи Кобылин принес мне вместе с дневником, но что дневник и есть ключ ко всему, что именно с него я должен начать, предположить было трудно.

Берлина я разыскал весной 1969 года, дня через три после майских праздников, и до лета мы встречались с ним почти ежедневно. Было это всегда у меня. В первый Мишин визит я узнал, что написанная по-бретонски тетрадь – дневник, узнал, кто и когда его вел, фрагментарно и, как впоследствии выяснилось, неточно – судьбу автора. Любопытство мое, первое во всяком случае, было удовлетворено, но мы продолжали видеться.

Пожалуй, Берлин интересовал меня не меньше Сертана. Меня вообще занимали все, кто так или иначе был причастен к революции, стоял близко к ней, к тем, кто ее делал. В нашей семье из этого разряда никого не было. По традиции мы держались как можно дальше от политики, относились к ней с трепетом, мои отец и мать здесь особенно преуспели. По возможности мы ничего не касались – только смотрели. В Берлине же сошлось участие и соучастие через отца, и был взгляд извне – все-таки отец, а не он, да и отец тоже многое видел иначе, не вровень с прожившими всю жизнь в России. Скорее, он примеривал на себя то, что тут делалось, но носить это ему, в сущности, так и не довелось. Хотя умер он в России, умер, как те, кто носил, той же смертью, – это мало что меняло. В Поле Берлине была не только наша обычная связка и не менее обычная рокировка палача и жертвы; веря, как мы, он шел к этой вере по-другому, и еще совсем другой сохранилась его вера в Мише. Мне и казалось важным знать, какой она сохранилась, как смотрит Миша на отца, в чем он ушел от него, в чем остался рядом.

Разговоры о Поле Берлине почти неизбежно порождались каждым новым совпадением его судьбы и судьбы Сертана и всегда надолго перебивали работу. По-моему, во время третьей встречи, когда мы уже кое-что друг о друге знали, оба были рады друг другу, хотели, чтобы наши отношения имели срок давности и мы могли говорить о чем угодно без расшаркиваний, «закрытых» тем, я, едва мы сели за дневник и напали на такую параллель, предложил ему прерваться и выпить. Сославшись на какую-то дату, сказал, что у меня праздник, после первой рюмки стал объясняться Мише в любви, называл лучшим другом, говорил, что Сертан свел нас – спасибо ему за это, и хватит о нем. Потом мы с Мишей ходили за второй бутылкой, и, когда возвращались, я перегорел. Я всегда форсировал свои дружбы, не умел поддерживать их на одном уровне. Мне нужны были изменения, нужна динамика – единицы смотрели на это, как я, с остальными же у меня всё быстро сходило на нет.

И здесь я, вдруг неизвестно на что обидевшись, кажется, на то, что получалось, что я не так люблю своего отца, как он – своего, я забыл, что его отец погиб, а мой нет, потом вспомнил и всё равно сказал Берлину, что неужели он не понимает, что, если бы его отец не потерпел поражения, а победил, а он боролся и мечтал победить, это ясно, – и Франция и Бретань были бы тогда, как Россия, а то еще хуже России – в конце концов, ученики нередко превосходят учителей. Я сказал, что мне, конечно, жаль его отца, подобной смерти никому не пожелаешь, да и человек он, наверное, был добрый и хороший, но это всё – пока. А дальше, даже если он лично и не хотел никого убивать, то и остальные так решительно не хотели, что азарт прошел, когда трети страны не осталось. И может быть, слава богу, что в какой-то момент они о других забыли и резать стали сами себя и здесь тоже так увлеклись, что до сих пор остановиться не могут. Всё же я, наверное, говорил это намного мягче, чем написал, и помню, что прямой обиды не было: всё было построено и звучало как вопрос, хотя и не тот, какой я был вправе ему задавать. Он и понял это как вопрос, потому что сам много лет то же говорил своей матери. И ни разу она ничего возразить ему не сумела. Мне

он ответил буквально следующее: «Нельзя равнять убийц и убитых».

Мы оба понимали, что это не всё, что знаки в том времени так легко не расставишь, – я сказал ему: «Миша, но ведь они часто рокировались».

«Нет, – ответил он. – Убитые убийцами уже не становились».

«Конечно, – сказал я, – но многие из убитых ими были. В конце концов, сколько гэпэушников расстреляно – они и своих не жалели».

«Не все убитые были убийцами», – это его слова.

«Да, – согласился я, – не все, сначала никто из них об этом не думал, в детстве они были дети как дети, они и потом пеклись лишь о всеобщем счастье, но им сказали, что надо, другого пути нет, – и колеблющихся, увы, оказалось немного. Одни это делали, конечно, с большим удовольствием, другие – с меньшим, только из чувства долга, но отказавшихся были единицы. Почему так было? – спросил я его. – Почему отказавшихся были единицы?»

Он понял, что я спрашиваю про его отца, о нем он мне и ответил.

«Сережа, – сказал он, – то, в чем мой отец обвинялся и за что был убит, – он не совершал, это вы знаете и с этим, насколько я понимаю, согласны. Теперь о том, в чем обвиняете его вы. Мой отец никогда никого не убивал, и я думаю, что нельзя судить человека за преступления, им не совершенные. Я думаю, что ни одного человека нельзя судить по аналогии. Теперь об идеях, которые исповедовал мой отец и которые, как вы уверены, должны были сделать его убийцей, – чтобы стать им, ему просто не хватило времени. Я думаю, что это были те же самые идеи равенства, добра, справедливости, счастья, которые были и есть всегда. И дело не в них, а в людях, забравших их себе, и в средствах, которыми они их распространяли. Известно, что эти идеи ни разу в обычной жизни не осуществились. Но если бы мы оставили их – это было бы концом, концом всего.

Мне кажется, – говорил Миша, – что добра, равенства, счастья, справедливости человек может достичь только в самом себе и только он сам может знать, как далеко он продвинулся. Наверное, если он хочет достичь этого в той полноте и абсолютности, которая среди людей встречается редко, которая делает их святыми, он должен сначала ото всех уйти, жить один. Раньше для этого уходили в пустыню, потом в монастырь, и это было разумно. Существовало, хотя и не везде, правило: когда человек покидал мир, он должен был получить согласие родных, потому что нельзя уходить в жизнь без греха, причиняя этим боль и горе близким, добро не должно причинять зло. Потом времена изменились, в монастырь теперь мало кто шел. Попытка же жить по-новому, никуда не уходя, превращала всё в ложь – так было всегда, и здесь ничего не поделаешь. Чтобы избавиться от этой лжи, у людей, остающихся в миру, был лишь один путь – покончить со всем, что было прежде, вычеркнуть его из жизни, вычеркнуть за то, что оно было несовершенно. Человек, уходя в монастырь, может уйти и от своего прошлого, – оставшемуся это не дано, но ни один, ни другой не должны, не имеют права трогать прошлое, если оно не только их.

Человек не властен над чужим прошлым, – говорил Миша, – то есть даже если он эту власть и имеет, он не может и не должен ее использовать. Нельзя убивать прошлое, общее с другими людьми, нельзя так расчищать место для новой правды. И еще: Богом устроено, что добро, которое ты хочешь принести всем людям, не искупит зло, принесенное близким. Добро очень зависит от расстояния. Обращенное на людей, которых ты любишь, оно всегда больше, чем розданное и отданное всем поровну, распределенное среди всех. Личное добро всегда больше безличного. Если ты ради всеобщего блага причинишь боль близким, зло будет больше.

Конечно, трудно примириться с тем, – говорил Миша, – что надо уходить, что всё, что ты понял, – это только для тебя, что даже люди, ближе которых у тебя никого нет, люди, с которыми ты прожил целую жизнь, которых любил, которые рождали тебе детей, не хотят и не могут разделить это с тобой, что они заталкивают это в тебя обратно, затыкают уши, только бы не слышать, не знать о том, что тебе представляется самым чистым и прекрасным и самым открытым для всех, что ты мечтаешь всем и без остатка отдать, зная, что дар твой, сколько ни раздавай – не оскудеет, зная, что это те хлебы, которые, сколько ни отламывай от

них, не кончатся, – а они это заталкивают в тебя обратно и не хотят ничего понимать. С этого и начинается практическое осуществление идеи. Почему они отказываются от того, что так прекрасно, почему не хотят принимать, почему не меняют зло на добро, не дети ли они неразумные и не твой ли долг – долг отца и учителя – взять их за руку и вывести на правильную дорогу?

Нет ничего опаснее учительства, – говорил Миша.

Отец не отвечает за сына, сын – за отца, но учитель отвечает за учеников. Откажись от учительства – неправда, что, если ты знаешь нечто хорошее и не научил, не передал, – это грех. Если ты учитель, тебе нужна власть. Власть многократно усиливает действенность твоих уроков, и ты должен хотеть, чтобы ее было больше и больше, ты должен любить и хотеть ею пользоваться.

Страшное дело – отказ от прошлого: на всей или почти всей жизни ставится крест, то, что было в ней, объявляется злом, неправдой и отсекается, жизнь человека рвется по-живому, и выйти из этого здоровым невозможно. Восторг обретенной правды хоть и может подавить, дать забыть прошлое, всё же сзади – пустота, провал, и еще: в этом рождении не из материнской утробы, а из идеи – всё искусственное и ненатуральное, и мир, который создают в себе и вокруг себя люди, переписавшие свою жизнь, сумевшие очиститься и родиться снова, – такой же искусственный. Этот мир отлично приспособлен к переделкам, его просто конструировать, он мобилен, но другие люди, люди, не умеющие легко отказаться от того, что было в их жизни раньше, в него никак не вписываются; он быстр, и они не успевают за ним».

Я прервал его.

«Хорошо, Миша, – сказал я, – вы говорили, что нельзя судить людей за то, что они не совершали, нельзя судить их по аналогии, но теперь вы сами равняете и судите всех, под ваши обвинения можно подогнать кого угодно, почему тогда ваш отец невиновен?»

«Мой отец виновен, – сказал Миша, – но он из другого поколения виновных. Одно поколение сходило, другое приходило, и своими они друг друга не считали. Кто был в начале, у истоков, тех, кто был в конце, своими никогда бы не признали».

Это было, конечно, не очень убедительно, но я видел, что Мише наш разговор давно сделался неприятен, и не стал пытаться его продолжить. Все-таки какая-никакая точка была поставлена, и мы вернулись к Сертану. Для себя я тогда решил, что был неправ и больше эту тему затрагивать не должен и не буду. Но потом, когда уже прошел месяц или даже еще больше, Миша вдруг сам возобновил разговор и, как будто мы вели его вчера, начал ровно с того места, где оборвал.

«Эти поколения разделила этика, – сказал он, – понимание того, что дозволено и что нет, ограничения, которые они сами ставили своей власти. Сталин, например, не знал их, он считал дозволенным всё и в отношении всех. Он – завершение цепи. Поколение за поколением шло вымывание идеализма, замещение его властью. В идеализме бездна запретов, он занят конечной целью, а не сегодняшним днем, и поэтому нежизнеспособен – власть же мобильна и практична. Политик, идущий от идеализма, может получить власть только тогда, когда она совсем слаба, когда она только что родилась или вот-вот должна умереть, пасть. Едва упрочившись, власть от идеалистов избавляется. В России к 32-му году с их властью было уже покончено, оставалось уничтожить их физически».

«Почему именно к 32-му году, а не к 29-му, например, когда был выслан Троцкий?» – спросил я.

«Высылка Троцкого, конечно, важна, но это совсем не главное. Куда показательнее гонения на авангард и ликвидация РАППа. Был составлен план создания пролетарского искусства, создания полностью нового искусства для полностью новой жизни. Поймите, Сережа, я совсем не за РАПП – это была гадость и глупость, но глупость, рожденная идеей, плоть от плоти идеи, может быть, самый главный, самый чистый и наивный вывод из той идеи, ради которой делалась революция; разгон РАППа означал ее конец. И конец поколения, которое было у власти до Сталина. Оно, это поколение, – сказал Миша, – тоже

склонялось к мысли, что позволено всё и в отношении всех, но изымало из понятия „всех“ соратников по борьбе – в их среде соблюдение основных моральных норм признавалось желательным. Хотя тезис: „Кто не с нами, тот против нас“ – был введен ими, на практике они различали тех, кто был не с ними, и тех, кто был против них. Предшественники же их – те были убеждены, что только враги, только лично виновные подлежат расправе, невинные не должны пострадать».

Он кончил. Мы оба молчали и, кажется, оба равно были рады, что этот разговор завершен. И все-таки я тогда спросил его, как власть поднималась по этой лестнице, как переходила со ступеньки на ступеньку – тот механизм, который ее двигал. Я спросил его про Сталина, потому что до него идеализма становилось меньше и меньше – он же покончил с ним. Это было уже новое качество, почти что вершина.

«Хорошо, – сказал я. – Я согласен, что Сталин так любил власть, что, не задумываясь, расправлялся со всеми, кто мог стать для него угрозой, само сохранение власти было для него достаточным оправданием террора, – но за ним же шли десятки миллионов. Конечно, это больше свидетельствует о том, что в стране была отличная пропаганда, и все-таки ведь она на что-то же опиралась, что-то сумела поставить на место идей, которые были раньше, на место того же Пролеткульта и остальной наивности, которую породила революция».

«Революционеры, взявшие власть в октябре 17-го года, – сказал Миша, – были уже практические революционеры, иначе со столь малыми силами они бы не добились успеха. Их умелость отметили все. Когда началась гражданская война, на сторону большевиков перешло от половины до двух третей кадрового русского офицерства. Эти офицеры изменили присяге и встали на сторону большевиков, потому что не терпели ни слабости, ни слякотности, в них единственных видели сильную власть, способную сохранить империю. Во время гражданской войны они стреляли в своих – то же потом делал Сталин. Здесь он был их учеником. Офицеры, перешедшие к большевикам, победили офицеров, которые боролись с большевиками, и еще они победили в главном – в том, что было главным для всех офицеров, и тех и этих, – они защитили Отечество, сберегли Россию, сохранили Империю. Предав, они оказались верны России. История оправдала их. Изменниками их уже никто не считает. Я думаю, – сказал Миша, – что именно русские офицеры, вставшие на сторону большевиков, объяснили Сталину, что ради величия России можно стрелять в своих. Он шел за ними. Его история тоже оправдала».

До марта 1970 года мы работали над переводом от случая к случаю, но весной Миша специально, чтобы без помех заниматься Сертаном, взял отпуск, и дело пошло быстрее. Перевод оказался сложным. Хотя бретонский, как всякий мертвый или почти мертвый язык, мало менялся, Миша, учивший его по книгам три века спустя, разбирал текст с трудом. Еще с большим трудом он разбирал почерк Сертана. Тут, как ни странно, я оказался ему полезен: по-бретонски я не знал ни слова, к концу работы я также ни черта в нем не понимал, но у меня был навык чтения рукописей. Я быстро усвоил написание букв, и там, где Миша в них безнадежно путался, читал вполне легко. В итоге лучшим выходом оказалась наша параллельная работа: я переписывал, вернее, перерисовывал буквы, – что, кстати, веками делали переписчики русских летописей и богослужебных книг: грамотными среди них были немногие, – а он вслед за мной переводил.

Автор дневника, Жак де Сертан, был француз, владелец театральной труппы, которая волей судеб, проще говоря, в поисках заработка оказалась в 1645 году в Польше. Здесь они долго и успешно гастролировали, пока начавшаяся в сорок восьмом году война с Хмельницким их не разорила. Еще пять лет с постепенно редющей труппой Сертан ездил по Белоруссии и Литве; Речь Посполитая на глазах беднела, знать теперь нечасто приглашала их в свои замки, и играли они в основном в городах во время ярмарок. Играли много, но концы с концами сводили с трудом – настолько дорого всё стало. Актеры расходились, кто подался в солдаты – это было и выгоднее и даже безопаснее, вокруг грабили, убивали, а тут у тебя было оружие, были товарищи, было жалованье, если повезет,

и добыча, – другие прибились к казакам: тоже при оружии, но никто над тобой не стоит, правда, и жалования нет. Театр медленно умирал, и когда в 1654 году русские вошли в Вильну и среди прочих трофеев забрали и Сертана, вся его труппа состояла из одного лишь Мартина, их художника.

Мартина Сертан подобрал шесть лет назад в Кельцах, где тот жил, как юродивый, спивался и давно уже не имел никакой работы. Художник он был редкой силы. Особенно удавались Мартину Страшный Суд и адские муки. Запой его часто кончались горячкой, ему являлись черти, и то, что он много и хорошо их видел, из картин было ясно. Такого зримого изображения ада, такой твердой веры, что он, писавший его, там был, не знал даже Босх.

Теперь, когда у Сертана ничего не осталось, ему было всё равно, что с ним будет дальше. Деньги у него скоро кончились, Вильна голодала, и те, кого он знал и кто мог бы помочь ему, давно уехали из города. Хозяин постоялого двора, на котором он жил, еще не гнал его, но Сертан знал, что и это ненадолго. Целыми днями он бродил по городу, иногда до вечера кружа одними и теми же улочками, а иногда, словно сводя с Вильной счеты, по возможности прямо, дважды пересекал ее крест-накрест: ставил на ней крест.

Как-то Сертан случайно набрел на двор, где были свалены декорации, взятые из его театра. Лето было дождливое, холсты мокли и уже начали гнить. Стрельцы, которые охраняли это и другое добро, стояли на постое в соседнем доме, и Сертан сказал их начальнику, чтобы он дал ему привести декорации в порядок, иначе они погибнут. Тот согласился. Сертан с Мартином перетащили их в сарай, не спеша начали подновлять, да так здесь и осели. Солдаты кормили их, и в общем они были счастливы.

Месяца через два, когда война сдвинулась дальше на запад и вслед за ней туда же, на запад, ушли стрельцы, на рассвете во двор завернули две большие подводы, спешащий возница на ходу крикнул Сертана и, едва он вышел, велел ему грузить всё то, что было в сарае. Затем, когда это дело было кончено, им с Мартином объявили, что они тоже должны ехать. Уже за заставой ямщик сказал Сертану, что путь их лежит в Москву.

Дорога оказалась очень долгой, телеги двигались совсем медленно, осенние дожди развезли забитый войсками тракт, и лишь в октябре они наконец добрались до Смоленска. Где-то на полпути потерялся Мартин, и Сертан остался один. За Смоленском поехали быстрее, но всё равно в Москву он попал лишь зимой 1655 года.

В столице его немедленно по приезде доставили в какой-то приказ, где тщательно допросили сперва по-польски, потом, узнав, что он француз, – по-французски, – подъячий, что его допрашивал, как отметил Сертан, знал язык очень хорошо. Сертан по чьему-то совету назвался во время этого допроса протестантом, а не католиком: он действительно был родом из протестантской семьи, но много лет назад в Италии перешел в католичество. Тем, что он протестант, по-видимому, остались довольны, и через три дня, которые его держали хотя и под замком, но рядом, в деревянной пристройке, Сертан был выпущен на волю.

Его отвели в посольский приказ и там объявили, что с сегодняшнего дня он принят на службу дворцовым комедиографом и ему назначено жалованье, пока, правда, небольшое. Там же, в приказе, ему сказали, что одна из царевен хочет знать, какие комедии он может поставить и что ему для этого надо. Сертан с помощью одного из подъячих составил список из десяти пьес, подробно расписав, что в них происходит, его передали главе посольского приказа Ордину-Нащокину, который, по словам приказных, остался списком доволен, сам отдал его царевне, – но на том всё и встало.

До весны Сертан жил тихо, затем дело опять тронулось, он несколько раз бывал у царского тестя – Милославского, вместе со Стрешневым и позже ему покровительствовавшего. Милославский был с Сертаном очень любезен, каждый раз отлично угощал и каждый раз говорил, что вот-вот всё должно решиться в их сторону: царю давно хочется посмотреть те комедии, которые смотрит его брат – французский король. Однажды Сертана даже водили в государеву казну, показали его собственные декорации и спросили, подходят ли они для тех комедий, которые он внес в свой список, или нужны другие. Сертан заверил, что подходят и ничего делать не надо, – можно начинать ставить

хоть сейчас, были бы актеры. Дьяк, что ходил с ним, сказал, что среди пленных есть несколько актеров и трое, кажется, французы. Сертан знал, что двое из троих точно его, как-то еще зимой он видел их на Торгу. Разговор этот был в середине лета, и тот же дьяк сказал ему, что комедия должна быть готова через полгода, к Масленице. И опять всё встало.

Сертан много раз ходил в приказ, ходил и к Милославскому, говорил, что, если и дальше всё будет так тянуться, к Масленице он никак не успеет, но ничего не добился. Приказные неплохо к нему относились, нередко рассказывали, что и как, да и сам Сертан к этому времени уже научился разбираться в московских порядках. Он слышал, что немало бояр, похоже, и царь, желали бы иметь во дворце театр не хуже, чем в иных землях, но у этой затеи есть и сильные враги. Главный среди них – Никон, патриарх. Никон, и не он один, считает, что театр – бесовское зрелище, и кто смотрит его, губит свою душу. Издавна повелось, что новое здесь, в России, когда это не оружие, не пушки, да еще с Запада, от латин, не любили, боялись за веру.

Сертан знал, что, если все-таки ему разрешат и он, как говорили, будет царским комедиографом, дела его сразу поправятся и он с лихвой вернет потерянное в Польше, но ничего не двигалось, и постепенно он начал понимать, что, наверное, и не двинется. Года два он еще надеялся, но после того, как русские заключили перемирие с Польшей и принялись разменивать пленных, стал проситься, чтобы и его отпустили уехать. Ему отказали один раз, второй, а зимой 61-го года разрешили.

Он собрался, подыскал попутчиков, через пару недель уже должен был тронуться в путь, когда в избу, где он снимал горницу, пришел какой-то чернец, сказал, что он монах гостиного двора Воскресенского Новоиерусалимского монастыря Григорий и послан к нему патриархом Всея Руси Никоном, который хочет, чтобы Сертан до отъезда обязательно побывал у него, Никона, по важному делу.

Говорилось всё это холодным и безгловым тоном, было видно, что поручение свое Григорий считает мерзким и общение с лицедеем тоже мерзким и греховным. Сертан был к этому уже приучен, знал, что так и должно быть, на Руси лицедеев не любят, скоморохи и шуты наказываются здесь смертью, та же участь ждала бы и его, если бы не покровительство государя. Положившись на это покровительство, можно было не ехать и сейчас, отговориться занятостью и предотъездными хлопотами, тем более Сертан знал, что царь и патриарх в ссоре, и, кажется, глубокой, патриарх как бы даже отречен от своего звания и живет в Воскресенском монастыре, в полузаточении. Но совсем недавно Никон был в России второй после государя, и Сертан слышал, что многие из бояр по-прежнему на стороне патриарха, считают его правым, дело может переиграться в мгновение ока, еще до того, как он покинет Россию, и поэтому ссориться с Никоном, не ехать ему определенно не стоит.

Все-таки через доброхотов он навел справки, не будет ли Алексей Михайлович против, не сочтена ли будет его поездка за поддержку опального – на это ушла неделя, а потом, как он и просил, ссылаясь на самого царя, его заверили, что нет и что он может ехать, и даже должен. В тот же день вечером он послал мальчика, бывшего у него в услужении, на подворье Воскресенского монастыря, а следующим утром на рассвете на трех тяжело груженных припасами возах приехал уже знакомый ему Григорий и повез его в Новый Иерусалим, к Никону.

Ехали они почти не останавливаясь, но только за полночь добрались до большого, принадлежащего тому же Воскресенскому монастырю села. Здесь они поели, накормили и напоили лошадей и, поспав два часа, снова, как и приехали, затемно, тронулись в путь. По вчерашним впечатлениям Сертана, местность вокруг дороги была хорошо обработана и густо населена, но ночью, стоило им выехать из деревни, совсем рядом с дорогой они услышали волчий вой, волки сопровождали их, пока не рассвело, но напасть не осмелились; по словам возницы, пока снег еще не глубок, они на людей нападают редко.

Следующая запись в дневнике датируется шестью днями позже. Сертан пишет, что вот уже неделю он живет в Новом Иерусалиме, ходит и смотрит, как идет строительство монастыря, гуляет по окрестностям, никто его не стесняет и никто не мешает, но для какого

дела он понадобился Никону, так и не известно. Дальше без всякого перехода Сертан возвращается назад и описывает свое прибытие в монастырь.

«Монастырь, который в России называют Иерусалимом, издали очень похож на крепость. У него десять башен, а над воротами построена еще одна, деревянная, с красивыми резными украшениями в русском стиле. У ворот стоят пять пушек и тут же находятся стрельцы, которых царь недавно прислал патриарху для охраны. Перед монастырем большой двор, и прежде чем подойти к воротам, проходишь мимо дома, в котором Никон принимает посетителей немонашеского звания. Здесь же находятся кузница, литейные для колоколов, кирпичные заводы, конюшни, лавки с образами, каменоломни и помещения для рабочих.

Когда мы вошли во двор, Григорий подвел меня к круглолицему ясноглазому человеку, которого назвал Дионисий Иванович. Потом я узнал, что он родом из Риги, как и я, был взят в плен в Литве, перекрещен патриархом и год назад сделан его секретарем.

Дионисий Иванович приветствовал меня, и почти сразу к нам подошел сам Никон. Я обнажил голову, поклонился ему в землю. Рядом лежал большой серый камень, патриарх сел на него и начал со мной беседовать. Говорил он любезно и, пожалуй, даже весело, сказал, чтобы я не держал на него зла, ведь Господь завещал нам прощать обиды. Я, – пишет Сертан, – тут заплакал и стал целовать ему руки. Дальше патриарх сказал, что то, чем я занимаюсь, – большой грех, и я гублю свою душу, потому он, Никон, и гнал меня. Созданы мы по образу и подобию Божию, и менять лицо, надевать личину могут одни язычники».

Прямо вслед за этой записью в дневнике идет характеристика Никона, по тону совсем другая: «Это человек без хороших манер и неуклюжий. Выражение лица у него сердитое, он крепкого телосложения, довольно высокого роста, краснолиц и угреват. От роду ему шестьдесят четыре года. Он очень любит сладкие испанские вина. Кстати и некстати он всё время добавляет: „Наши добрые дела“. Говорят, что Никон редко бывает болен, – только перед непогодой и дождем он жалуется на ломоту, но по наступлении дождя или снега ему снова становится лучше. С тех пор, как он четыре года назад выехал из Москвы, головы его не касалась гребенка...»

Таковы были первые впечатления Сертана о Никоне. Вообще же в дневнике о Никоне сохранилось немало самых разных записей, обычно подробных и обстоятельных. Тем не менее, несмотря на эти достоинства дневника, несмотря на сходство взглядов Сертана и Суворина, доверять Сертану везде, где он пишет о Никоне, было бы неразумно. Дело в том, что лишь в начальный год из шести лет, что они жили рядом, отношения их можно было бы назвать нормальными. В записях же, сделанных в другие годы, вопреки их кажущейся подлинности и точности, многое явно домыслено, многое вообще вызывает сомнения, и пользоваться ими надо осторожно.

У Сертана Никон часто называется ребенком и – столь же часто – ребенком гонимым и преследуемым. И дальше: «Всё, что в нем было плохого, – было из детства. Он был неровен: то мелочен и завистлив, то щедр; вспыльчивый и нетерпеливый, любил жаловаться, любил, чтобы его жалели, легко ссорился, начинал обличать и угрожать, но затем пугался, раскаивался и сразу хотел мириться».

Судя по дневнику, Никон на удивление быстро привязался к Сертану. Мы с Мишей обратили на это внимание, переводя еще самые первые новоиерусалимские записи. Он явно выделял Сертана из людей, которые его окружали. Но Сертан это или не видел, или не хотел видеть, он по-прежнему боялся Никона и противился любому сближению. Основания у него были.

Никон был тот, кто преследовал его все годы жизни в Москве и едва не погубил. Теперь Сертан из-за него, Никона, не мог уехать из России: Никон держал Сертана при себе насильно, а это плохой способ найти доверенного человека. Всё, что Никон рассказывал о своей жизни, Сертана раздражало, казалось или странной сентиментальностью, или хитростью. Но Никон, ничего не замечая, продолжал тянуться к Сертану. По видимому, отношение Сертана к нему было Никону безразлично. Миша объяснял это тем, что Никон ни в каком роде не был создан для диалога, он не умел перестраиваться, он был рожден менять

окружающий мир, а не приспособливаться к нему. Он выбрал Сертана на должность близкого себе человека – и этого было достаточно. Потом, через год, Сертан был отставлен от данной должности, но виновато в этом было совсем не его отношение к Никону.

Никон был из тех, чья доля и чья миссия была или гнать или быть гонимым, кто знал, что если он не гоним и не гонит, значит, он плохо служит Господу. Он не мог жить иначе (из того же племени были и протопоп Аввакум, и Иван Неронов) и делал всё, чтобы было так.

У Никона не было детства, или оно было неполно, и как всякий человек, у которого была отнята целая часть жизни, он при первой возможности вернулся назад, чтобы соединить свою прошлую и настоящую жизнь. Вернулся и остановился, потому что теперь снова впереди был провал, и снова ему было не перебраться через него.

### **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.